

ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ

76—77

МЮНХЕН 1994

СОДЕРЖАНИЕ

Христос Воскресе!	1
Дора Штуман. "Живая власть..."	3
В.Пирожкова. Демократия и государство	9
С.Тиктин. Сахаров и СОИ	17
В.Пирожкова. Потерянное поколение (<i>Продолжение</i>)	23
Н.Кравец. Эпизоды и судьбы	36
В.Пирожкова. Несколько слов о моем учителе	39
Д.Петров. Лингвистика вчера и завтра	48
Р.Гуардини. Религиозные образы в творчестве Достоевского (<i>Окончание</i>)	50

ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ

№76-77

Апрель 1995 г.

Мюнхен

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос Воскресе!

Дорогие читатели, наш журнал выходит теперь нерегулярно в полуторном размере. Поэтому он теперь и выйдет значительно позже Пасхи. Но это роли не играет: о воскресении Иисуса Христа можно говорить в любое время.

В нашей текущей во времени жизни перед воскресением всегда смерть. В наше время о смерти думать не любят. Почти все, кого ни спросишь, даже если они считают себя верующими христианами, говорят, что лучшая смерть – это смерть неожиданная, вот так прямо из суматохи и жизненных будней неожиданно перенестись в другой мир, упасть и умереть, не сознавая, что происходит. Между тем есть церковная молитва: от внезапной смерти избави нас, Господи.

Смерть всегда оставалась загадочным порогом, через который каждый человек неизбежно должен переступить. Каждый человек в большей или меньшей степени боится смерти, так как со смертью кончается привычное, все то, что человек усвоил себе с момента зачатия, – современная наука доказала, что человек в чреве матери уже воспринимает гораздо больше, чем до сих пор думали, – и в течение всей своей жизни. За этим порогом начинается нечто совсем иное. Поэтому каждый человек невольно содрогается перед этим порогом, даже тот, кто накладывает на себя руки.

Тем не менее в прошлые века к смерти относились естественнее. С одной стороны, люди были ближе к природе. На их глазах проходил цикл рождения, роста, зрелости и смерти всего живого, начиная с растений, проходя через животных и кончая человеком. Смерть вписывалась в естественный круговорот жизни.

С другой стороны, люди были большей

частью верующими. Понятие о жизни после смерти существует во всех религиях, в том числе и в большинстве дохристианских. В таких атеистических религиях, как, например, буддизм, где не существует понятие о Боге, есть вера в переселение душ, т.е. тоже в жизнь после смерти, хотя и в унижительном для человека виде, поскольку это учение утверждает, что грешник рождается снова и в своей новой жизни должен страдать, искупая грехи предыдущей жизни. Но он ее не помнит, ничего не знает о своей предыдущей жизни и, стало быть, искупает ее грехи бессознательно, вслепую.

Христианство совсем иначе обращается к свободной воле человека. Оно говорит ему, что эта его земная жизнь – единственная на земле и она является подготовкой для жизни вечной. Человек в этой же одной жизни должен осознать те грехи, которые он совершил, покаяться в них, искупить их все в той же жизни. И если после смерти ему будет продлено время перед вступлением в вечность для раскаяния в тех грехах, в которых он по тем или иным причинам не покался в жизни, то и это будет сознательное признание этих грехов и сознательное покаяние в них, а не тупое страдание неизвестно за что.

Но именно поэтому внезапная смерть не может быть для христианина да и вообще для человека самой лучшей смертью. Господь милостив к человеку, если дает ему возможность еще перед смертью обдумать свою жизнь под знаком приближения этой самой смерти, покаяться в тех грехах, о которых он до сих пор не думал. А неверующему, может быть, в последний момент уверовать.

Люди очень боятся земных страданий, временных и даже кратковременных, даже если они только кажутся страдающему долгими.

Что люди, что их жизнь и труд?
Они прошли, они пройдут.
Надежда есть: ждет правый Суд,
Простить он может, хоть осудит.

И, как говорится в Апокалипсисе, Бог отрет каждую слезу. Земная жизнь – коротенький отрезок, хотя бы она длилась 120 лет, она преходяща, так же как преходящи все земные труды, невзгоды и страдания. Что все это по сравнению с жизнью вечной, не бесконечной, а именно вечной, не в становлении и прехождении, а в чистом бытии.

И это не растворение в нирване, не погружение в космос, это – личное бытие в преображенном теле. Воскресение Христа предваряет наше воскресение. Он воскрес с тем земным телом, которое принял от Своей Матери. Фома мог потрогать его раны, и все же это было преображенное тело, оно уже не чувствовало ни боли, ни страдания, оно не подчинялось земным категориям времени и пространства. Он мог проходить через закрытые двери, появляться неожиданно, и тем не менее Он не был духом, так как дух плоти и костей не имеет. Он мог даже пить и есть, хотя уже не нуждался в пище и питье. Такими же будем и мы после воскресения, если Господь по милосердию Своему примет нас.

Великой тайной покрыто то, что будет с нераскаявшимися грешниками. Существует много легкомысленных шуток об аде и грешниках в аду, но это страшная мысль. С одной стороны, эта мысль высказана Самим Христом и сомневаться в этом нельзя; с другой стороны, в Апокалипсисе есть слова о смерти второй.

Чуткий мыслитель Бердяев мучился этой проблемой, не представляя себе, с одной стороны, как наряду с Царствием Божиим может в вечности существовать Царство дьявола. А с другой стороны, горячий поклонник свободы, Бердяев писал, что эта свобода не была бы дана человеку всерьез, если бы не включала в себя права человека выбрать для себя ад в вечности.

Да, человек имеет свободу выбрать для себя ад в вечности. Страшный выбор и страшная свобода. Не случайно великий инквизитор говорит выдуманному Христу в “Ле-

генде о великом инквизиторе” Достоевского, что Христос дал человеку свободу, которой этот последний не в силах вынести.

Но ведь свой страшный выбор в пользу вечного ада человек должен сделать свободно, сознательно, а большинство этих самых слабых людей, о которых якобы печется великий инквизитор в “Легенде”, не делают такого сознательного выбора. Они – грешники по слабости, внутренней смятенности, даже нередко по недоразумению, непониманию, слепоте и пр. О них всех слова Христа, сказанные Им даже по отношению к Его убийцам: “Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят”.

Помню слова одного священника: “Нелегко говорить людям старым, больным, страдающим, с больным, уже искаженным телом, что у них будет нетленное, прекрасное, молодое, преображенное тело”. И тем не менее это так. Если Христос нас примет, если Он простит, умолит Бога Отца простить нам все наши прегрешения и примет нас, то мы войдем воскресшими именно в эту жизнь вечную.

И над раем шутили люди, представляя пребывание там однообразным и скучным. Но как можем мы, живущие во времени, существующие под знаком распада и прехождения, когда каждый момент уносит от нас кусочек той земной жизни, за которую мы так цепляемся, знать, что представляет собой чистое бытие, без становления, без прехождения? Мы даже отдаленно не можем вообразить себе той мощной силы бытия, которая исходит от Господа и которая станет и нашей долей, если мы войдем в радость Господа своего.

На земле дается иногда тому или иному человеку на один момент почувствовать то невыразимое счастье, которое дает человеку близость к Богу, нет, не само это счастье, такого бы еще живущий на земле не выдержал, а только предчувствие этого счастья. Но даже и при этом меркнет все земное, самое хорошее, самое счастливое.

Будем же просить нашего Спасителя Иисуса Христа в Его великой любви принять нас, грешных.

РЕДАКЦИЯ

Д.Штурман

“ЖИВАЯ ВЛАСТЬ...”

По-видимому, все-таки перенимать худшие стороны какого-либо полезного в целом образца куда легче, чем заимствовать или по-своему строить то, что составляет его главную ценность, перекрывающую все его недостатки.

Среди многих определений демократии как государственного устройства и принципа общественной жизни есть и следующее ниже. **Демократия есть свобода производства и распространения информации.** Распространение как понятие включает в себя в данном случае и куплю-продажу. При этом возможны и даже необходимы определенные ограничения этой свободы. Но они:

а/ обусловлены и оговорены открытым, принятым гласно, в порядке конституционной процедуры законодательством;

б/ носят узкий и специальный характер (оборонные государственные секреты, охрана авторских прав, некоторые нравственные и личностные проблемы и т.п.);

в/ предполагают цензуру карательную, а не предварительную.

Вышеприведенное определение не исчерпывает понятия демократии как государственного устройства. Так, по определению Норберта Винера, демократия предполагает “четкое, ясное и воспроизводимое право” (законодательство). В рамках этого права то, что обязательно для граждан А и Б в их нынешнем состоянии, остается обязательным для каждого из них, если они обмениваются ролями и общественным статусом. Стартовые права и возможности всех граждан юридически равны, что, однако, не гарантирует равенства их субъективных возможностей и достигнутых ими результатов. И так далее.

Общественное сосуществование индивидов неизбежно налагает на них ряд ограничений, без которых демократия превращается в анархию. Анархия же неотвратимо преобразуется в право сильного, жестокого и бессовестного. От слабого анархия требует массы уловок, сводящих на нет его человеческое достоинство и угрожающих его жизни. Можно с уверенностью сказать, что в конечном счете анархия исключает свободу и права личности и сводится к диктатуре бессовестности и силы. От классического тоталитаризма она от-

личается лишь царящим в ней хаосом и обилием претендующих на власть банд. К великому сожалению, демократия слишком часто воспринимается как синоним анархии. Для одних демократия – это свобода без ограничений, то есть фактически своевольное “право” сильного и наглого. Другими, куда более рафинированными и вполне благонамеренными гражданами демократия воспринимается как долг состоять в оппозиции при любой позиции власть имущих. Разумеется, мы взяли здесь две крайние и при этом утрированные точки зрения. Однако не искаженные, а лишь – для наглядности – подчеркнутые.

Есть ли в России 1991–1995 (март) годов демократия?

Я бы определила Российскую Федерацию последних (с 1991 года) лет как **становящуюся демократию**, то есть как демократию в процессе ее становления. При этом необходимо отметить:

1/ в Российской Федерации есть уже **демократический основной закон**. Он нуждается в доработке, разработке, уточнениях и детализациях, но он – есть;

2/ то, что складывалось в Западной Европе столетиями, то, что в царской России заняло часть XVIII, XIX и 16 лет XX века, то в России постбольшевистской по необходимости случилось **до нескольких лет**. Да еще в беспрецедентной политико-экономической ситуации крушения никогда до этого в истории не существовавшего строя. Крушение “староазиатских” и “староюжноамериканских” деспотий происходило иначе, в иные сроки. Да и не были эти формации полностью идентичны социализму при всем их сходстве (в некоторых существенных отношениях).

Вышеупомянутые демократизации в Западной Европе происходили в войнах и революциях. Но ни разу в ходе западноевропейских демократических революций политические катаклизмы не убивали во всем народнохозяйственном океане преемственности духовного и экономического развития, как это совершили в Российской империи большевики. Не было такого ни разу, чтобы ствол дерева был перерублен полностью и на нем – насильственно! – выстроилась бы нежизнеспособная химера, державшаяся $\frac{3}{4}$ века ло-

жью и принуждением. Эта химера с момента своего создания самым парадоксальным образом **вроде бы** и крепла: модернизировалась индустриально, научно (?), рапортовала о своих успехах, ради которых шла на чудовищные репрессии, на тотальный политический, духовный и экономический гнет. На самом же деле в ней все советские годы добивалась и проедалась дореволюционная Российская империя, исчерпывались ее природные, хозяйственные, экологические и, главное, нравственные ресурсы. Никакое государственное насилие **этих** процессов повернуть вспять не могло. Не надо думать, что коммунистическая власть не хотела (по причине своей лютости) дать народам империи и стран-сателлитов обещанные благосостояние, свободу и благоденствие. Напротив: она и лютвала-то по той причине, что обещаний социализма-коммунизма выполнить **не могла**, а сладкое бремя всевластия отдавать **не хотела**. Не могла не по изначальной злобности, а злобствовала и применяла насилие по причине импотенции исходной идеи. Но, по мере вхождения во власть, вошла и во вкус власти. И естественно сосредоточилась на ее удержании **любой ценой**. Цену платил народ, но и правящих голов слетело немало.

Разумеется, чем раньше был бы тем или иным способом устранен самоубийственный плод коммунистической утопии, тем больше отечественных ресурсов, духовных, экологических и хозяйственных, было бы спасено. Тем быстрее восстановилось бы нормальное человеческое общежитие в основных границах империи, так или иначе осовремененных. Всплесков надежды на реставрацию нормы было несколько. НЭП, смерть Сталина, **вроде бы реформы** Хрущева, горбачевские потуги все улучшить, ничего не меняя и поступаясь только границами “соцлагеря” и цензурой. Но половинчатые “перестроечные” потуги Горбачева лишь бешено ускорили процесс распада, включенного в 1917 году.

Я не буду повторять многократно сказанного, написанного и опубликованного. Но, в полном противоречии с молниеносно воскресшей интеллигентской обязанностью быть всегда против власти, замечу: Борис Ельцин стал первым за все трагические 74 года (1917–1991) постфевральского российского XX века руководителем государства Российского, понявшим, пусть и не сразу, что по-

строили большевики. Поняв это (далеко не молодым уже человеком), он не подчинился ни кастовым интересам, ни инерции своего прошлого. Ельцин избрал дорогу, отвечающую его новым и сознательным убеждениям. После череды верховных фанатиков, тиранов и самодовольных недоумков одно уже появление на высшем уровне правительственной номенклатуры человека, посягающего на Систему, было для страны баснословной удачей. Осмелюсь утверждать, что президент Ельцин не изменил задаче действительного спасения отечества. То, как он пытался и пытается это сделать, – это иной вопрос. Не думаю, что кому бы то другому эта задача в **1990–х годах** удалась бы лучше, удалась бы легче. Слишком поздно началась реанимация нормальной жизни, чтобы оказаться простой задачей.

Ельцину надо бы помогать изо всех сил, но... “живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых”.

К величайшему несчастью и сожалению, к концу 1994 года интеллигенция (которой при Пушкине еще не было, а при советской власти почти не стало) опять, как и в “проклятое царское время”, разделила с чернью эту роковую особенность – ненависть к “живой власти”. Правда, в бытность свою “образованщиной”, она этого своего качества публично почти не проявляла. Оно дремало в ней как латентная инфекция до того момента, когда ненавидеть “живую власть”, особенно высшую, а не начальника своей конторы, стало почти безопасно.

Обидней обидного, что к вчерашней “образованщине”, ускоренно преобразующейся в интеллигенцию, приобщились и лица, входящие в тот просвещенный, высоко духовный слой, который даже в советские годы не сдавался и не изменял себе. Вряд ли он любит мертвых фюреров советского коммунизма, но тем не менее ему решительно не по душе и власть живая.

Собственно говоря, любовь ли сегодня требуется? Если еще не поздно (повторяю: не ведаю, что будет к моменту выхода в свет этой статьи), то требуется лишь понимание своих собственных интересов и поддержка той единственно реальной силы, которая этим интересам более всех других сил соответствует.

Нужна сознательная и нелицеприятная по-

мощь – без умолчания о промахах и ошибках, без угодничества, но и без отступничества, без возложения на “живую власть” единоличной ответственности за страшный груз, который она взвалила на свои плечи. Ведь доля ее собственных (этой власти) ошибок (если не неизбежных, то объяснимых) ничтожна в грузе десятилетий советского прошлого. В хаосе рушащихся обломков коммунистического чудища отстраивая жизнеспособный и выносимый строй, эта “живая власть” еще отступничества не заслужила. Даже в чисто прагматическом плане ваши действия, гг. беспредельные демократы, решительно неразумны. У вас есть сегодня в запасе власть, способная действовать лучше этой? Удачливей, прозорливей, последовательней? И, главное, обладающая секретом быстрого и дешевого преобразования рушащегося коммунизма в процветающую демократию? Вы знаете во всемирной истории прецедент такого перехода? И, наконец, дал ли вам президент Ельцин серьезный повод не верить его искреннейшему желанию и, главное, способности вывести Россию из кризиса, если общество в этом ему поможет? Вас не преследует призрак ядерного распада всего и вся, неминуемого в случае прихода к власти стоящих на изготовку “других сил”? Вы питаете хоть малейшую надежду, что такой “другой силой” будете вы и что у вас есть в запасе волшебная формула быстрого возрождения России, более быстрого и легкого, чем путь, избираемый посредством проб и ошибок Ельциным и Черномырдиным? Кого зовете или ведете вы им на смену?

Давайте окинем взором ближайшее прошлое.

Я утверждаю (и неоднократно в книгах и статьях предсказывала и показывала), что СССР распался в силу причин, имманентных социализму как таковому, а не в результате ошибок и преступлений того или иного лидера, причем исключительно (как теперь модно думать) 1985–1995 гг. Ни Ленин, ни даже Сталин с их уникальной тактической изворотливостью, аморализмом и беспощадностью, прожили они (любой из них) не старея все советские 74 года, с 1917-го по 1991-й, этого распада не предупредили бы и не преодолели бы. Голем СССР-овского социализма свой запас насилия, принуждения и лжи исчерпал, а других ресурсов продления своего пребыва-

ния **среди живых** у Голема нет. Он и рухнул грудой обломков.

Попытаемся себе представить, с какими проблемами столкнулся первый за 74 года некоммунистический руководитель Российской Федерации Борис Ельцин.

Я пишу не книгу, а статью и потому не могу приводить развернутых доказательств и соответствующих цитат, позволяющих создать исторический и личный портрет Бориса Ельцина. Я лишь подчеркну еще раз, что Ельцин остается искренним в своем неприятии коммунизма и сейчас. И еще одно: судя по ряду его высказываний в речах и книгах, он **знает**, почему он не приемлет коммунизма. Это не только постепенно назревшее эмоциональное неприятие жестокости и лжи – это трезвое инженерное понимание объективных и неотвратимых причин губительной созидательной безнадёжности **социализма как строя**.

Поверяя политику **демократического** руководства страны некими совершенно апрагматичными, нереальными, абстрактными мерками, постсоветские либеральные интеллектуалы (часть – вчерашние коммунисты, как, повторим, и Ельцин, и Черномырдин, и почти все их коллеги: откуда возьмутся другие?) и вчерашние диссиденты перешли из крайности в крайность: от “квазифевралистской” (в нашем сюжете – августовской, 1991 года) восторженности к традиционно-кастовому интеллигентскому неприятию верховной власти.

В сентябре 1993 года интеллигенция снова качнулась в сторону правительства, спасающего ее от реставрации коммунизма. Но после октябрьских событий 1993 года приязнь просвещенного слоя к правительству Ельцина стала падать, а в месяцы чеченской войны и вовсе устремилась к нулю, а то и к минусовым температурам. Есть ли для этого (март 1995) при всей сложности нынешнего положения внутри и вокруг Российской Федерации неотклонимые основания? Действительно ли действия Российского правительства в Чечне 1994–1995 годов лишают последнюю прав на поддержку со стороны общества?

Обращусь за помощью к весьма компетентному специалисту. Речь идет о статье-интервью политолога А.Зубова, опубликованной в “Новом Русском Слове” от 4–5 февраля 1995 г.

Андрей Zubov – известный политолог, государствовед, еще в 1989 году предложивший свою модель территориального устройства страны, – отвечает на вопросы специального корреспондента “НРС” Марины Шакиной.

– Как на ваш взгляд ученого, вероятен ли в ближайшее время распад России? В связи ли с чеченским кризисом или по какой-то иной причине?

– Я не пророк. Я буду исходить из тех данных, которыми располагаю как исследователь. Понятно, что жизнь всегда может все перечеркнуть.

Мне представляется, что после октября 1993 года происходит процесс консолидации Российского государства, а не его дезинтеграции. Даже если взять пример Чечни, то ввод туда войск еще три года назад был невозможен. Никто бы не пошел воевать. Борьба на взаимное уничтожение, которая развернулась в ту пору между президентом и Верховным Советом, сделала бы такую попытку попросту нереализуемой.

В декабре 1994 года при всех трудностях и издержках российская армия как институт государства сработала. После более чем года консолидации Российское государство не могло иначе отреагировать на ситуацию в Чечне. Оно уже готово было защищать себя как целый организм. Если говорить не о нравственной стороне дела, а лишь об инстинктах государства, то в принципе это была нормальная, шоковая реакция. И я убежден, что любая другая страна поступила бы так же в аналогичной ситуации.

Государство – структура не райская, а сугубо земная, грешная, и методы его почти всегда далеки от идеалов морали...

А вот когда с невероятными взаимными обвинениями, взаимными шельмованиями распадался Союз, когда генерал Дудаев штурмовал в Грозном здание Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности, разгонял Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР, вот тогда реакция Российского государства на эти действия и события была реакцией больного.

...Здоровое общество так не реагирует на распад, на дезинтеграцию государства. Оно будет пытаться его предотвратить.

Есть в этом диалоге и еще более определенное суждение:

– Давайте спустимся с небес на землю. Ни одно государство никогда не предоставит независимость какой-либо из своих областей или какому-либо из штатов, если там власть захватил некий политический деятель, потребовавший отделения.

Для любого мыслящего человека полная независимость Чечни – авантюра. Вполне красноречивы примеры независимой Грузии, независимой Абхазии, независимой Армении, страшно страдающих и все равно тянущихся к России. Что же говорить о маленькой, не имеющей выхода к морю и гораздо более привязанной к России Чечне? Здесь даже проводить референдум об отделении, на мой взгляд, было бы большевизмом. Если чеченский народ не доволен жизнью с Россией, то, естественным образом, надо исправлять эту жизнь, а не бросаться в авантюру, рискуя ввергнуть собственный народ (и соседние тоже) в пучину лишений и бед.

Чечня – это симптом глубокой болезни. А болезнь – неадекватность нашего федерализма реальным условиям жизни. Законы или конституции, которые принимают республики, уставы, которые принимают области, отвечают лишь потребностям сохранения власти и перераспределения собственности. А люди, они даже не понимают, почему принят тот или иной устав.

Я думаю, что пока в России должна существовать единая система законодательства. Допустима частичная областная автономия в области культуры и образования, подобная той, которая существует в Испании и Италии для некоторых провинций со сложным национальным составом населения.

Но при этом активное выращивание самоуправления. Удастся – тогда через какое-то время можно перейти к территориальной федерации американского типа. Не удастся – вместо федерации у нас навсегда останется феодальная междоусобица.

Интервьюер возражает:

– Но есть такая точка зрения: Чечня как была, так и осталась колонией России. А колониям надо дать свободу...

И получает однозначный ответ:

В государственной-правовой науке колония – понятие вполне определенное. Колонии бывают трех типов. При некоторых различиях все три типа колоний объединены одним признаком: их население никоим образом не может влиять на деятельность законодательных органов метрополии и не избирает туда своих депутатов. Чечня избирала столько же депутатов в парламент, сколько и равночисленная русская область – и в верхнюю, и в нижнюю палату. Чечня была полноправным субъектом государства. Никто не ущемлял ни Чечню, ни какую-то иную российскую республику ни в отношении ее прав на представительство в федеральных органах власти, ни в отношении уплаты налогов. Более того, известно, что Чечня всегда была и остается республикой дотационной, то есть не из нее “выкачивали”, а, наоборот, в нее “вкачивали”.

Называть Чечню колонией – это безграмотно. Это часть Российского государства, не менее органичная, чем штат Мэн в Соединенных Штатах или Ньюфаундленд в Канаде.

Несколько раньше крупный американский адвокат в интервью, приведенном той же газетой, заметил, что США несомненно ответили бы войной на попытку государственного отделения, к примеру, Техаса. История США свидетельствует об этом достаточно однозначно.

Совершенно иной вопрос – **характер** проведения операции, проблемы ее **затянутости**, неправильной, особенно на первых этапах, **тактики** и другие конкретные вопросы, требующие критики и, насколько возможно, исправления ошибок или преступлений.

Вопрос же о том, имеет ли демократическое государство право защищать свою территориальную целостность от неконституционных посягательств каких-либо групп или структур местной власти, не является дискуссионным. Во всяком случае – для специалистов-законододов демократических стран.

Вернемся, однако, к тем обстоятельствам, которых не хотят видеть российские беспредельные демократы. Они забыли, что большевики сознательно разделили Российскую империю таким образом, чтобы ни одна ее территориальная единица, получившая **национальное имя**, не могла безболезненно отде-

литься от целого. Они применяли для этого разные приемы: пересекали территорию одной национальной единицы вкраплениями, или выступами, или полосами других национальных территорий. Они переселяли целые народы. Они рассеивали по всем республикам, областям и краям русских и украинцев. Они непрерывно организовывали по разным поводам миграционные потоки. В итоге этой $\frac{3}{4}$ -вековой политики почти нигде, кроме некоторых областей собственно России и, может быть, Украины, народ, имя которого носит данная административная единица, не составляет подавляющего большинства населения, а кое-где и вовсе оказывается в меньшинстве.

Они не позволили ни одной административно-территориальной единице СССР, вплоть до самых крупных, быть экономически самодостаточными. Хозяйство каждого региона сознательно специализировалось так, чтобы ни один из них не мог хозяйственно, производственно, в оборонительном отношении, даже в науке функционировать без других. Образно говоря, если хлопок выращивала Средняя Азия, то ситцы ткали в Иванове; если сельскохозяйственные комбайны выпускала Украина, то моторы для них делались в России, а топливная аппаратура к последним – в Прибалтике и т. п. Чем меньше был регион, тем уже была его специализация. Но порой и огромные территории загонялись в ту же ловушку. Инициатива же, как политико-идеологическая, так и экономическая, не говоря уже о внешних связях и военной сфере, была сосредоточена в Кремле. К нему сходились все нити и данные обо всех ресурсах – из него исходило распределение и планирование. Все это делалось плохо, с огрехами, упущениями и постепенным нарастанием “шумов”, вплоть до критического развального уровня. Но – **только так**.

Специфический характер общесистемной экономики (всего СССР как целого) определялся исходными политико-идеологическими задачами коммунистического монстра. Его целью было установление (в идеале) всемирного политического и экономического господства коммунизма.

Кроме того, противоестественная система требовала непрерывного и нарастающего принуждения и специальных усилий для этого. Поэтому $\frac{2}{3}$ непродуктивной, непродуци-

тельной экономики работали на войну (на вооружения разного рода и связанную с ними науку). По той же причине так раздулись органы пропаганды и госбезопасности и такой гигантской была все советские годы армия.

Можно отметить еще несколько специфических черт, превращавших экономику СССР в бремя, которое удавалось кое-как выносить только всем республикам сообща. Но для нас важно отметить главное: единый, унитарный, распределенный по всей ее территории характер хозяйства **нынешней России**. Перед этим хозяйством стоят колоссальные и **протяженные во времени** проблемы, едва ли не главная из которых – конверсия ее противостоит естественно огромного военно-промышленного комплекса. Эту (как и другие, подобного и близкого масштаба) задачу решать в условиях территориально-административного распада нельзя. Непрерывно приходится говорить о росте преступности. Но и эту проблему в условиях территориального распада России, посредством одной только перетасовки полицейской номенклатуры, решать невозможно. Выработка нового права, гражданского, уголовного, земельного, экономического, – тоже задача первостепенной важности. Но и ее тоже в условиях территориального распада решить немислимо.

Поэтому вопрос стоит сегодня вполне однозначно: удастся ли России остановить распад и сохранить свою (не всего бывшего СССР, а Российской Федерации) территориально-административную целостность или нет? Короче: быть или не быть России?

Чечня – первый прецедент практического посягательства на эту целостность. Если в этом прецеденте Российская Федерация отступит, ей угрожает реакция хаотической суверенизации и отпадения ее частей, губительного для них самих. И, следовательно, нерешимость ни одной из стоящих перед ней (подчеркнем еще раз) **выживательных задач**.

Удивительно вот что: прекраснотдушная российская интеллигенция не замечает одного весьма печального факта. Она, как говорится, в упор не видит, кто ныне витийствует на соседних с нею митинговых площадках.

Неистовая Сажи Умалатова олицетворяет один край антиправительственной продудаевской оппозиции, а заслуженные вожди диссидентства – другой. Сажи Умалатовой протитительно: она человек протой и, мягко гово-

ря, непросвещенный. Но какие имена на противоположном фланге той же шеренги! Невозможно даже произнести в одном ряду с бедной темной Сажи. Вас это не настораживает, господа пацифисты?

Егор Гайдар, который был достаточно влиятельным и ответственным членом кабинета в те годы, когда в Чечне складывался полный “беспредел” Дудаева и ломалось всякое подобие права, – куда он смотрел тогда?

Сергей Ковалев так чувствителен ко всем проступкам и преступлениям своей стороны – это прекрасно. Однако почему он так равнодушно и упорно закрывает глаза на зверства дудаевцев? Ему несколько раз ставили лобовой вопрос, видел ли он трупы запытаных русских солдат, говоря о которых (а их было несколько десятков) плакал начальник госпиталя. Ковалев отмахнулся, сказав, что лично он такого не видел.

Ю.Черниченко, Г.Якунин, Л.Пономарев – им же несть числа, такие, казалось бы, прозорливые и мужественные политики, почему они уподобились телевизионным ведущим, кокетничающим своим безбрежным пацифизмом, и не думают о завтрашнем дне России?

Бороться против нарушения законов войны и злоупотреблений? Конечно. Осуждать ход операции, ее запоздалость, ее первоначальный и нелепый хаос? Несомненно. Такова позиция очень многих последовательно демократичных и трезвых людей, к примеру – Андрея Козырева, Марка Захарова, Бориса Федорова да и самого Ельцина. Но слепой и безмерный пацифизм их оппонентов, когда речь идет уже о территориях Российской Федерации, уместен только при полной готовности **перестать быть**.

В Израиле тоже есть пацифисты. По здешним масштабам (5,5 млн. населения – чуть больше, чем пол-Москвы) движение достаточно многочисленное. И есть организация матерей-пацифисток – “женщины в черном”. Их, правда, дальше столичных улиц и площадей не пускают: чтобы не дергали солдат за приклады, когда те спасают жизнь всей стране, в том числе – им и их детям.

Как это ни парадоксально, для огромной России сохранение ее целостности в данный момент судьбоносно так же, как для крохотного Израиля – сдерживание агрессии против него исламского океана. Россия находится

внутри эпохи труднейшего экономического и политического самопреобразования. Она, повторим снова и снова, заботами Ленина-Сталина, состоит в значительной мере из номинально нерусских автономий и областей. России предстоит реорганизовать свою армию, которой угрожают небоееспособность и деструкция.

И наконец, оппозиция демократической интеллигенции толкает правительство на союз с теми силами, которые (совсем из иных соображений, чем Ельцин, Черномырдин, Козырев и т.д.) либо исповедуют, либо используют идею “единой и неделимой” (в разных, правда, границах: от бывшего СССР до “земшара”). Интеллигенции эти силы глубочайше антипатичны (Ельцину, я думаю, тоже). Но она, интеллигенция, самая распродемократическая, их, этих своих антипатов, свалив Ельцина, ни в коем случае не одолеет. Да и не возьмется одолевать: мы, интеллигенты, горазды лишь самовыражаться. А вот они, эти силы, интеллигенцию схавают в один момент,

даже не заметив, кого съели. Может быть, многие думают, что, съевши интеллигенцию, они снова начнут штамповать (нужными им порциями) “спецов” и “образованщину”? Нет, на этот раз – не начнут. Ибо если та лодка, которую ныне так дружно раскачивают безграничные миролюбцы, перевернется, то возникнет ситуация кабаковского “Невозвращенца”. Понесут ли тогда боевые ракеты свои термоядерные заряды и в каких направлениях, судить не берусь.

Я не знаю, когда увидит свет эта моя статья и что произойдет к тому времени. Но, во-первых, долг велит высказать свое мнение. Во-вторых, подобные ситуации в пределах Российской Федерации возможны в будущем и помимо чеченской, чем бы она ни разрешилась.

Очень хочется верить, что из всех мысленно допустимых возможностей сбудется лучшая: Россия сумеет сохранить свою целостность и выйти из кризиса без роковых потерь.

В. Пирожкова

ДЕМОКРАТИЯ И ГОСУДАРСТВО

В Петербурге мне сказала одна молодая женщина, инженер-электрик, потерявшая работу из-за сокращения кадров на заводе: “В одночасье я потеряла хорошую работу. Разве это демократия!” Многим и даже не только русским, у которых после десятилетий коммунистического индоктринирования очень часто еще полная каша в голове, демократия представляется какой-то панацеей от всякого зла: вот наступит демократия и все будет хорошо. Западные пропагандисты демократии много виноваты в том, что такое впечатление могло возникнуть. Хотя, видимо, людям свойственно ожидать от того государственного строя, которому они привержены, каких-то волшебных свойств. Так, некоторые русские монархисты-эмигранты думают, что стоит только восстановить в России монархию и все сразу же наладится само собой.

В России, даже среди тех, кто считает себя политиками, распространено убеждение, что демократия – это только то, что нравится им. Кроме того, к сожалению, в посткоммунистической России возникло опасное терминологическое упрощение. Мне не раз приходилось писать, что терминология и ее точность чрезвычайно важны. Много бед про-

исходило и происходит оттого, что люди вносят путаницу в терминологию. Не понимая, что скрывается под тем или иным термином, они ожидают от воплощения в жизнь того или иного понятия совсем не того, что в этом понятии заложено. Это можно сравнить с человеком, перепутавшим семена растений, посеявшим бурьян и ожидающим, что на его клумбе вырастут розы.

Одним из возникших в России терминологических упрощений является присвоение названия “демократы” определенной группе людей, как будто лишь они одни ими являются. В США, например, одна из двух больших партий называется “демократической”, а другая “республиканской”, но все знают, что это лишь условные названия, так как и та и другая партия стоит на позициях как демократии, так и республики. В России же многие берут такие названия вполне всерьез. Так, К.Любарский в статье “Мы все глядим в Наполеоны” (“Новое время” № 7) пишет, что Б. Ельцин всегда руководствовался инстинктом власти и когда он заметил, что демократы не могут служить надежной опорой его власти, он закончил свой роман с демократией и стал искать другой опоры.

Но, пишет дальше Любарский, слабость демократов лишь временная, и дальше идут длинные рассуждения о том, что для России нет к демократии другой альтернативы, что возвращение к коммунизму невозможно и что тоталитарные или авторитарные структуры лишь временно могли бы удержать президента у власти.

Все эти рассуждения правильны, но отождествление кучки людей, назвавших себя демократами, с демократией как таковой показывает лишь путаницу понятий в голове самого автора. "Роман" президента Ельцина с демократией и не думал кончаться. Ельцин по-прежнему стоит на почве демократии и демократической конституции, равно как и его правительство и его помощники. Кончился только "роман" с той группой интеллигенции, которая присвоила себе без всякого права на это наименование "демократы".

В наше время демократией называется определенная структура власти в государстве. В государстве должна существовать инстанция, за которой в спорных вопросах остается последнее слово. Эта инстанция основывается на том или другом принципе построения государства. В демократической системе по самым основным вопросам государства, например, по вопросу принятия новой конституции или же отделения той или другой части от государства, к которому эта часть принадлежала, назначается референдум, где определяется большинство голосов. Вообще большинство в демократии – это основной определяющий принцип на выборах, но между выборами последнее решение остается либо тоже за большинством парламента в парламентской демократии, либо за президентом в президентской демократии, либо в одном вопросе за президентом, а в другом требуется подтверждение большинством парламента – это зависит от действующей конституции. Большинство так же мало безошибочно, как и отдельный человек, монарх или диктатор, оно столь же мало непогрешимо в нравственном смысле, как и отдельный человек. Большинство в демократии определяет не истину, мне уже не раз приходилось об этом писать, а лишь прагматически тот путь, по которому данный народ, данная страна в ближайшее время должны идти. Многие приписывают демократии какие-то особые нравственные свойства, отождествля-

ют ее с другими понятиями, в нее не входящими. Демократия – это не пацифизм и тем более не анархия; демократия вполне совместима с сильным государством, и демократии вели войны, в том числе и не только оборонительные. Демократы Севера США вели одну из самых кровопролитных войн в истории против южных штатов, захотевших отделиться и стать самостоятельным государством. Демократия США и сейчас применила бы военную силу, если бы какой-нибудь ее штат попал под власть диктатора и последний захотел бы отделить этот штат, захватив при этом много тяжелого оружия. Большой вопрос, разрешили бы Вашингтон устроить в этом штате референдум по вопросу об отделении этого штата. Насколько мне известно, такой референдум не был бы допущен, так как в конституции США он не предусмотрен. Москва же была готова допустить референдум в Чечне летом 1993 г., хотя в тогда действовавшей конституции такой референдум предусмотрен не был. В брежневской конституции на бумаге было предусмотрено возможное отделение союзных республик, но не автономных. Сорвал референдум Дудаев, так как предполагал, что он не победит, что большинство населения Чечни проголосует за то, чтобы остаться в рамках Российской Федерации.

Но мы повторим еще раз: демократия это не нравственное понятие, это лишь определенная форма государственности. Демократия также не является гарантом справедливости: большинство может быть несправедливым и большинство может ошибаться. Это надо помнить. Одна моя знакомая, немка из Югославии, уехавшая еще при Тито в Германию лишь потому, что она была против коммунистической диктатуры, стоит за единую Югославию, и, хотя она из Хорватии и католичка по религии, она считала неправильным решение большинства в Хорватии и Боснии-Герцеговине, голосовавшего за отделение от Югославии. Прежде она очень горячо ратовала за демократию, и всегда чувствовалось, что она придает демократии некое нравственное значение, но после референдума в Хорватии она воскликнула: "На что мне демократия, если они принимают такие безумные решения!" Она была уверена, что начнется кровопролитная война, в чем и не ошиблась. Очень возможно, что сейчас, особенно в Боснии-Герцеговине, многие жалеют,

что проголосовали за отделение, проголосуй они иначе, не возникло бы леса крестов, равно как и мусульманских могил вокруг Сараева и других городов Боснии. Но как бы ни оценивал тот или иной человек решение большинства, как безумное или разумное, как правильное или неправильное, ему придется подчиняться этому решению и брать на себя все его последствия, если он остается в данной стране. Ведь и абсолютный монарх, если в стране абсолютная монархия, или тем более диктатор может принять разумное или безумное, правильное для страны или неправильное решение. Мы уж не говорим о том, что критерия для оценки правильности или неправильности вообще не существует. То, что сейчас кажется неправильным, поскольку привело к кровопролитию, может в перспективе для страны оказаться правильным и даже спасительным, и наоборот, то, что сейчас кажется правильным, может оказаться роковой ошибкой. Абсолютных критериев ни для кого не существует. Но в государстве должен быть какой-то порядок. Анархия ведет, как правило, к гораздо худшим последствиям, чем даже ошибки правителей.

Демократическая структура сама по себе не гарантирует ни правильности принятого решения, ни, пусть читатель не удивляется, прав человека. Большинство может очень даже легко пренебречь этими самыми правами. Недавно немецкая социал-демократка, которой кандидат в канцлеры Шарпинг намеревался предложить пост министра юстиции в случае победы его партии на выборах в октябре 1994 г., предложила лишить стариков с известного возраста – с какого она пока не уточнила – права голоса, причем всех, в том числе и тех, у кого вполне ясная голова. Обосновала она это тем, что стариков развелось в наше время слишком много, а потому молодые избиратели лишены того веса, какой им якобы полагается для отстаивания их интересов. Эта дама исходит из того, что об интересах страны никто из избирателей не думает, каждый думает только об интересах своей группы. Пока еще далеко до принятия соответствующего закона в Бундестаге, но считать такое принятие невозможным нет основания. Правда, следует сначала внимательно заглянуть в конституцию, записано там это право или нет. Но именно потому, что

большинство ненадежно, почти в каждой стране существует Основной Закон, преступать который не может и большинство парламента (если то же большинство его не изменит, хотя для этого нужно не простое, а квалифицированное большинство). В конституцию входят те права человека, которые на Западе считаются “естественным правом”, хотя правильнее было бы назвать его Божеским правом. Но из-за секуляризированного названия этих прав почти во всех странах, где эти права вписаны в конституции, нарушается самое основное право, право на жизнь, так как разрешаются, хотя и с некоторыми ограничениями, аборт. Иными словами, разрешается убивать самых невинных и самых незащищенных людей. Если бы конституции исходили из Божеского права, то такое разрешение было бы невозможным.

Но вернемся к государственному устройству. Неправильное развитие в стране можно при принципе выборной демократии исправить, если большинство выберет партию или президента, способных направить страну по более правильному пути. С другой стороны, смена направлений может иметь необязательно хорошие результаты для государства. Мы помним, как в Англии после войны лейбористы (социалисты) национализировали промышленность, что дурно отразилось на экономике, а потом консерваторы, придя к власти, должны были снова реприватизировать ту же самую промышленность. Это отбросило Англию в экономике назад, даже за проигравшую войну Германию, которой пришлось отстраивать огромные военные разрушения и восполнять вывезенное из нее как репарации. Нечто подобное Англии произошло и в Швеции, когда социалисты довели “социальное государство” до абсурда.

Целесообразнее было бы, вероятно, вообще не национализировать промышленность, а с помощью соответствующих законов урегулировать порядок владения средствами производства, если он в этом регулировании нуждался. Я хочу сказать, что большинство далеко не всегда принимает правильные решения и демократия совсем не гарантирует наилучшего хода развития страны. Но она гарантирует возможность изменения и даже возвращения обратно (как это было в Англии) мирным путем. Правила игры таковы: проигравшее меньшинство подчиняется реше-

нию большинства, даже если это решение представляется ему весьма неразумным, а победившее на этот раз большинство отстраняется, если на следующих выборах победителем окажется бывшее меньшинство. Но в представительной демократии есть и другие правила игры, которые также должны соблюдаться, если граждане хотят порядка в стране. Для того чтобы сделать проблему нагляднее, выделим некоторые структуры и попробуем на них показать то, что мы хотим сказать. Так, в президентской демократии президент имеет большие права, в тех или иных вопросах они ограничены парламентом. Те, кто голосует на президентских выборах, голосуют за то или иное определенное лицо, и победивший кандидат получает в свои руки ту власть, которая определена для президента в конституции. Ее он должен стараться использовать с наибольшей пользой для государства, но ожидается, что и те, которые за него голосовали, будут в первую очередь думать о пользе государства, а не о том, что если они поддерживали на голосовании победившего президента, то они имеют на него и его решения какие-то права. В России же я не раз сталкивалась с наивным мнением, что подача голоса за определенное лицо – это что-то вроде акции, дающей право на вмешательство в политику не в качестве гражданина, который в свободной стране всегда может высказать свое согласие или несогласие с политикой властей, но в виде права на консультацию со стороны властей. Так, при начале войны в Чечне Юшенков кричал: “Президент с нами не посоветовался!” А почему он должен был советоваться особо с представителями маленькой партии, которая и в Думе не имеет большинства? Только потому, что она шумно заявляла претензии на этого президента? Конечно, право Юшенкова и любого другого члена партии на следующих выборах голосовать за другого кандидата, но пока не кончились права избранного президента, право президента решать возникающие вопросы так, как он считает это правильным для страны, и советоваться с тем, с кем он считает нужным, принимая во внимание большинство в парламенте, а не специальные фракции внутри него, не имеющие большинства. Конечно, президент может советоваться и с ними, но он этого делать не обязан и особенно не обязан принимать их советы к исполне-

нию. Пока длится тот период, на который президент избран, он имеет право пользоваться всеми конституционными правами так, как он сам считает правильным для страны, а граждане обязаны ему лояльностью, так же как и правительству. Они обязаны лояльностью государству, которое представляют избранные президент и парламент в рамках их конституционных полномочий, а также назначенное президентом правительство. Эта лояльность не исключает критики, но полностью исключает государственную измену, братание с открытыми врагами государства или вооруженными мятежниками против государства.

Мы хотим подчеркнуть еще раз, что демократия – это особая форма государства, не это – государство со всеми его прерогативами. Так прерогативой государства является владение вооруженными силами всех родов. Сюда включается армия, полиция или милиция, специальные войска, как пограничные, так и внутренние. Одним словом, **все** вооруженные формации должны подчиняться государству, только в этом случае они легально могут владеть оружием. Вооруженные силы подчиняются **исполнительной** власти, другие отрасли власти, законодательные и судебная, не имеют права самостоятельно содержать для себя военную силу. Так, бывший Верховный совет вооружился в свое время совершенно незаконно.

Е.Гайдар в своей только что вышедшей в свет книге “Государство и эволюция” пишет, что государство должно стать одним из элементов общества. Мы самой книги еще не видели и прочли это в отрывке, опубликованном в “Известиях” (10 ноября 1994 г., стр.5), там Гайдар не перечисляет других элементов общества, которые, по его мнению, должны стоять в одном ряду с государством, думаем, что и в самой книге такое перечисление отсутствует, так как его при самой большой фантазии не придумаешь. Это одна из тех абстрактных фраз, которые не имеют под собой никакой реальности. Уже одна эта фраза показывает, что Гайдар не может быть государственным деятелем: человек, который ничего не понимает в сущности государства, не может быть одним из руководителей государства. Государство – это форма существования общества, тот **необходимый** корсет, без которого оно бы развалилось на части, начав вой

ну всех против всех. Многие из так называемых демократов по своему существу анархисты, но их странным образом тянет к такому жесткому и мафиозному диктатору, как Дудавев. Вспоминается французская поговорка: крайности соприкасаются.

В то время как Гайдар уничтожает государство и тем самым ставит под угрозу самое существование России и ее общества, президент Ельцин в своем послании обеим палатам парламента 16 февраля с.г. нашел хорошие и правильные слова о государстве. Пр процитируем их: “Мы еще не воспринимаем государство как одно из наиболее значительных достижений мировой истории социальной культуры. Без него невозможно цивилизованное человеческое общежитие. Государство – не только институты власти и занятые в них чиновники. Оно является прежде всего политической организацией всех граждан страны, их совместным достоянием и общим делом. Потому крайне опасна оппозиция государственности как таковой”. Мы хотим указать на то, что подчеркивали в нашей статье в №74–75: страшно было то, что Гайдар и значительная часть его партии в трудную для России минуту отказались от российской государственности как таковой. В этом все дело. Пр процитируем еще раз президента: “Конструктивна та позиция, которая выражает гражданственность, то есть активное сознательное участие в делах государства, пользование всеми правами и свободами, гарантируемыми Конституцией, и одновременно добросовестное выполнение своих конституционных обязанностей”.

Это правильные слова. Гражданам России надо учиться видеть в государстве не что-то чуждое, а свое собственное дело. Конечно, это нелегко после десятилетий отчуждения, после десятилетий мышления в категориях “они” и “мы”, но без усилий переменить свое мышление не удастся создать новое государство, между тем как к этому есть все предпосылки.

Вернемся к принципу “большинства”. Оно решает на выборах, кто становится президентом, кто депутатами парламента. При решениях, принимаемых парламентом, большинство в парламенте определяет при парламентской демократии правительство, при ней же и при президентской демократии законы, оно же принимает бюджет.

Констеляции большинства могут меняться. В европейских парламентах, особенно в Германии, констеляция большинства сейчас, увы, неизменна. Выборы происходят по партийным спискам, и в Бундестаге депутаты одной и той же партии голосуют всегда одинаково, равно как и депутаты партий, входящих в правительственную коалицию, всегда голосуют вместе, а оппозиция тоже всегда голосует вместе, хотя не всегда против законопроектов, вносимых правительством. По закону в Германии не существует императивного мандата, т.е. каждый депутат, хотя он и избран по партийному списку, отвечает только перед своей совестью и никто не может его принудить голосовать всегда согласно решениям его партии. Фактически же в наше время все депутаты подчиняются партийной дисциплине своей партии. В США констеляции большинства в Конгрессе и в Сенате более подвижны. Там по разным вопросам могут создаваться констеляции большинства и часть депутатов одной партии голосовать вместе с депутатами другой партии. В России пока нет застывших партийных фракций, я надеюсь, что они и не образуются. По разным вопросам в Думе могут возникать разные констеляции большинства голосов. Хотя “Выбор России” и вообще те, кто присвоил себе наименование “демократы”, – на самом деле демократ каждый, признающий действующую конституцию, – хотели бы иметь президента своим заложником, он не мог бы на них опереться и в том случае, если бы намеревался всегда действовать в их духе: у них нет в Думе большинства. Мы уж не говорим об их бесконечных склоках между собой. Президент не может запретить никому выступать против его политики, но он не может никому запретить **поддерживать его политику**. Б.Федоров писал, что “демократы” оставили государство, патриотизм, национальные интересы жириновским-баркашовым (см. в № 74–75 мою статью “Россия в конце 1994 и начале 1995 г.”). Я уже слышала от тех, кто причисляет себя преимущественно к демократам, с ужасом в голосе, что, мол, уже есть у правительства союз с Жириновским. Нет, такого союза нет, правительство никому союз не предлагало, но что делать, если в конкретной ситуации Жириновский проявил больше государственного смысла, чем большинство членов “Выбора России”? Еще раз: ни прези-

дент, ни правительство никому не могут запретить поддерживать ту линию политики, которую они в данный момент считают наилучшей для государства и стараются провести в жизнь. А абстрактные демократы еще могут обдумать свои действия и вступить на стезю российской государственности, критикуя **продуктивной** критикой (вместо бесплодного тотального противостояния) то в этой политике, что, по их мнению, следует исправить. Тогда они снова смогут принять участие в жизни государства. Но сначала им следует признать это государство. Стоя на позиции его отрицания, нельзя участвовать в его строительстве. У них есть время и возможность, и ради России мы бы им этого желали. Как известно, человеку свойственно ошибаться, но известно также, что говорят о тех, кто упорствует в своих ошибках.

Итак, большинство не только может ошибаться, оно может стать весьма диктаторским. Мне сказал один из демократов, стоящих сейчас в тотальной конфронтации к российскому правительству: "Все здравомыслящие люди думают так, как мы". Это пример совсем не демократического, а настоящего тоталитарного мышления. Если все инакомыслящие не могут претендовать на здравомыслие, то что с ними делать? Запереть их в психушку? Это – логический вывод из постулата, что все здравомыслящие люди могут думать лишь одинаково и так, как думают именно провозгласившие сие. Это совершенно советский образ мышления: всякий инакомыслящий – или больной, или враг народа, или пролетариата, или враг германской расы, или... какой там еще постулат можно выставить? В России демократы вышеуказанного типа не составляют сейчас большинства, но может случиться, что большинство в той или другой стране выдвинет лозунг: здравомыслящие только те, кто думает так, как мы. Тогда меньшинству придется плохо. Поэтому государство должно защищать меньшинство. Да, большинство определяет, кто управляет страной, но хотя меньшинство должно подчиниться этому выбору, за ним остается право думать и говорить, устно и в прессе, о своем несогласии без того, что их объявят невменяемыми. Я помню, что когда в Германии Брандт стал канцлером, я как-то в семинаре его критиковала. Сейчас же выступили левые студенты с возмущением: как, мол, вы може-

те его критиковать, ведь его избрало большинство! Я спросила их: "А когда большинство выбирало Аденауэра, вы всегда были согласны с каждым его словом и политическим действием?" Они удивленно на меня уставились, вспомнив, как левые критиковали Аденауэра. Я тогда не намеревалась не только подкладывать Брандту бомбу, но и натравливать на него народ на митингах, но только высказывала свое мнение. Итак: меньшинство, свобода его мнения, должно быть защищено, но меньшинство также не имеет права делать из себя "властителя дум", шельмовать всех инакомыслящих как нездравомыслящих. Если это меньшинство проголосовало за партию или президента вместе с другими, а потом пришло к мнению, что избранные им действуют не так, как им хочется, то их право высказывать свое мнение, но они обязаны быть лояльными к государству и правительству до следующих выборов, когда они могут отдать свои голоса за другую партию или другого кандидата.

Только если сохраняется чувство ответственности к государству как таковому, лояльность по отношению к избранным его представителям, толерантность по отношению к инакомыслящим, будь они в большинстве или в меньшинстве, только в этом случае демократическая форма государственности может сохраниться.

Государство, демократическое так же, как и всякое другое, должно охранять свою целостность, свои границы, свой суверенитет. Так поступают все демократические государства. Они добровольно не отдадут никакой части собственной территории. Наивно думать, что США, например, отдали бы кому-нибудь Аляску или Нью-Мексико. Правда, индейцы и не могли бы найти себе какого-нибудь настоящего вождя или узурпатора и потребовать отделения части территории США от общего государства, так как американцы их почти всех предусмотрительно физически уничтожили. Англосаксы вообще уничтожали местное население. Так, еще в начале нашего столетия англичане истребили систематически всех живших в Южной Африке бушменов, просто для того, чтобы освободить территорию для собственных поселений. Правда, потом был по этому поводу запрос в английском парламенте, но дело было закрыто.

Однако оставим историю. В наше время

американские войска действовали против диктаторов и на чужой территории, причем гибло и мирное население. Может быть, Нориега и был отвратительным диктатором, но Панама все же другое государство; тем не менее войска США вторглись туда, причем погибло не так мало гражданских лиц, женщин и детей. И никто не протестовал. Но они обладают хорошо работающей пропагандой в отличие от российского правительства. Как сказал генерал-полковник Михаил Колесников, начальник генерального штаба: “Во время войны в Ираке каждый школьник во всем мире знал, что Саддам Гуссейн – злодей, а мы совершенно не сумели показать преступника Дудаева во весь рост” (интервью в газете “Ди Вельт” от 20 марта 1995 г.). Мы уже писали, что российское правительство не искушено так в пропаганде, как американцы. Те же бывшие коммунистические журналисты, которые делали пропаганду для советского правительства, делают – и весьма ловко – теперь пропаганду против российского правительства. К сожалению, им помогают бывшие диссиденты, не сумевшие разглядеть, что их противник теперь не демократическое правительство, а эта самая открыто или скрыто прокоммунистическая пропаганда. Они дудят по старой привычке в одну и ту же дуду. Проще и удобней, думать не надо, катись по накатанным рельсам – и все на Западе будут хвалить. Но если раньше протесты против диктатуры были опасны и многих сделали мучениками, то теперь это неопасно и потому дешево. Конечно, следует возражать там, где считаешь это необходимым, но не надо увлекаться протестом. Следует сначала хорошо подумать. Надо сознавать свою ответственность перед государством, перед страной в целом. Когда Турция ввела войска в другую страну, в Ирак, чтобы преследовать воюющих против него курдов, на немецком телевидении все приглашенные турки, подчеркивающие, что они – неофициальные лица, защищали мероприятия своего правительства, а когда стала приходиться информация о жертвах среди мирного населения курдов, Турция просто запретила иностранным журналистам въезд на территорию Ирака (другого государства), которую оккупировали турецкие войска. Российское же правительство добродушно пускало в Чечню всех журналистов, своих и чужих, которые единогласно на-

падали исключительно на Россию и ее войска, представляя Дудаева каким-то рыцарем без страха и упрека, причем вопреки всякой истине и фактам. Среди российской интеллигенции бытует весьма наивное западничество: она верит американской пропаганде. Прожив полвека на Западе, мы знаем лучше положительные и отрицательные стороны западной демократии, но я знаю из опыта, что убедить в этом русских интеллигентов трудно. Они уверены в своем собственном обширном знании, тогда как на деле они твердо усвоили себе легенду о безупречном демократическом Западе.

Это можно понять: задавленные коммунистической диктатурой, они искали где-то отдушины и символа надежды вне этой диктатуры. Искали же мы во время войны отдушины даже в военной оккупации после совершенно невыносимой сталинской диктатуры! Но теперь-то надо передумывать. Пора строить свою страну и осознать, что на Западе не все золото, что блестит, и что в этих странах есть друзья, есть и враги России как таковой, в том числе и демократической России, и что большинство населения западных стран в случае конфликта с Россией поддержат свои страны, а не Россию, даже если виноват будет Запад, если, скажем, НАТО нападет на Россию. Поэтому русским следует хорошо подумать, прежде чем набрасываться на свою власть, находясь на Западе: западные аплодисменты стоят не так уж много. Многие из бурно хлопающих готовы поддержать не справедливость как таковую, а враждебные выпады против России, опять-таки против любой России. Ради своей собственной страны надо, конечно, стремиться к справедливости, поскольку она в практической жизни возможна, но никак не ради аплодисментов Запада. Есть на Западе многочисленные и влиятельные круги, которые будут относиться враждебно к России, даже если она сделается примером справедливости и миролюбия, может быть, в этом случае даже особенно враждебно – как к нежелательному конкуренту, влияющему на мир уже одним своим существованием.

Всем принципиальным пацифистам я предлагаю прочесть бессмертное произведение В.С.Соловьева “Три разговора”. Но теперешние “марши мира” живо напоминают недавнее прошлое, которого молодые не могут по-

мнить, но мы помним хорошо. Особенно участие карнавално золотистых буддистских монахов в шествии “солдатских матерей” напонило Вьетнам и роковую роль буддистских монахов.

Президент Дием, очень порядочный человек, глубоко верующий, не буддист, христианин, католик, начал укреплять Южный Вьетнам против коммунистов. Большим злом было то, что трудно было укреплять деревни и маленькие местечки: американская армия не могла быть везде, а как только в том или другом местечке появлялся честный и работоспособный бургомистр или старшина, коммунистические вьетконговцы его убивали. Постепенно получилось, что на эти места шли только авантюристы, надеявшиеся нахватать для себя как можно больше, и опять оставить пост, до того как их убьют. Президент Дием же начал создавать в деревнях и местечках вооруженную самооборону, в которую молодежь охотно шла, так как большинство народа в Южном Вьетнаме было настроено против коммунистов. Дием стал опасен для коммунистов. И вот по всему миру покати́лась волна клеветы и лжи на президента Диема, его брата и жену брата, на американские войска, якобы они совершают жуткие жестокости.

Война есть война, и во Вьетнаме страдало и мирное население, страдали женщины и дети. Но тогда, так же как теперь российские и иностранные каналы телевидения каждый страшный кадр показывали и показывают постоянно, по многу раз. В Германии больше десяти раз показывали один и тот же целиком разрушенный дом в Грозном и каждый раз добавляли, что весь Грозный так разрушен. Так и тогда: одну и ту же девочку, пострадавшую от бомбы, показывали много раз. И к тому, что в войне было действительно страшного, прибавляли 80% лжи, – как и теперь в России. В США и в Европе ходили “демонстрации мира”, требовавшие прекращения войны, а в самом Вьетнаме особенно рьяно действовали буддистские монахи. Они не только ходили в карнавалных костюмах на шествия и демонстрации – они прибегли к гораздо более эффективному средству: они шли на самосожжение. Весьма эффектно

выглядели эти живые горящие костры. Лишь после стало известно, что коммунисты накачивали кандидатов на самосожжение наркотиками до потери ими всякой чувствительности и способности мыслить.

Трезвых голосов в печати было мало: большинство повторяло и нагнетало антивоенную пропаганду, раздувало ужасы и повторяло друг за другом прямую ложь.

Президент Дием был свергнут и убит. Президент Кеннеди, давший на это санкцию, думал, что он удовлетворит этим буддистов, но этого не произошло. Американцы проиграли войну, а тогда и началось самое страшное: в наступившей могильной тишине сотни тысяч, если не миллионы, пошли в концлагеря. И никто не протестовал, по улицам США и Европы не носили плакатов против коммунистических концлагерей, а буддисты не только не сжигали себя, но даже вообще ничего не заявляли. В то же время многие вьетнамцы с отчаянием бросались с семьями, детьми в утлые джонки и выплывали в открытое море, чтобы только бежать от коммунистических победителей. Они массами тонули, пираты отнимали у иных их последний скарб и топили их самих за ненадобностью. Благотворительные организации в Европе снаряжали корабли, чтобы выловить хоть часть этих несчастных людей. Оплачивались эти суда на скромные пожертвования населения. Мы все жертвовали. Медии, прежде так шумевшие, хоть и давали дорогие сообщения обо всем этом, но большого шума не подымали.

Что делают пестрые буддистские монахи в России? Зачем они маршируют? Хотят они тех же результатов, что и во Вьетнаме? Свержения демократически избранного президента и передачи власти коммунистическим диктаторам? Другой альтернативы сейчас в России нет. Трудно поверить, что фанатики-пацифисты, “митинговые демократы” сумеют прислушаться к голосу рассудка, но мы надеемся, что в России, кроме них, найдется достаточно здравых сил.

Когда эта статья будет напечатана, надо думать, что война в Чечне будет уже закончена и там будут идти восстановительные работы, которые уже начаты.

Мюнхен, 31 марта 1995 г.

С.Тиктин

САХАРОВ И СОИ

Сахаров своим вкладом в разработку термоядерного оружия сделал немало для того, чтобы противоракетная оборона стала важнейшей проблемой для всего мира.

Отметим для начала, что эта проблема как в США, так и в СССР возникла не на пустом месте и начала разрабатываться задолго до начала выступлений Сахарова против программы разработки СОИ (Стратегической оборонительной инициативы – с элементами космического базирования), объявленной США.

Еще во время II мировой войны силы английской ПВО сбивали с курса немецкие баллистические ракеты V-2, посылая им сигналы на выключение двигателя на пару секунд раньше немцев. Ракеты падали, не долетая до Лондона. Естественно, что после запуска первого советского спутника США интенсифицировали свои работы по противоракетной обороне.

В 1959 году США предприняли первую неудачную попытку сбить один из своих небольших тогдашних спутников ракетой, запущенной с самолета. Последующие попытки такого рода долгое время тоже оказывались безуспешными. В 1970 году в СССР впервые был сбит спутник мощной ракетой, запущенной с земли. В начале 1970-х гг. силы советской ПВО “ослепили” с земли лучом лазера американский спутник-разведчик. Но последующие попытки “ослеплять” спутники лазерными лучами оказались безуспешными благодаря соответствующей защите их оптических систем. Потом произошел “обмен любезностями”: у обеих сторон взорвались (?) над наблюдаемой чужой территорией по тяжелому спутнику-разведчику весом около 20 тонн каждый.

Так что соревнование между США и СССР в разработке ракет и спутников для систем противоракетной обороны началось задолго до выступления Рейгана 23 марта 1983 года по поводу программы СОИ и стало неизбежным и продолжительным процессом. В принципе это его заявление ничего не меняло. Разработка СОИ, как бы ее ни называли, стала естественным и закономерным продолжением этого соревнования, новым витком его спирали.

О советских разработках ракетно-космических средств доставки ядерного оружия к целям известно пока меньше, чем о разработках самого этого оружия. Еще в начале 1960-х годов Хрущев объявил, что СССР имеет “глобальные” ракеты, т. е. способные поражать цели на территории США через южное полушарие. Советский генералитет был очень недоволен этим разглашением важнейшей тайны первым лицом в государстве, но Хрущев считал тогда эту угрозу необходимой. Через некоторое время появилось сообщение о советских “орбитальных ракетах”, способных нанести удар с любой стороны. Сейчас появилась кое-какая конкретная информация. Вот что пишет в статье “Зато мы делаем ракеты (как создавались советские космодромы)” живущий ныне в Израиле д-р Д.Метревели, бывший работник космодрома Байконур (вернее Тюр-Атам), в действительности расположенного более чем в 350 километрах к юго-западу от городка Байконур:

“В 1967 году с космодрома Байконур впервые была запущена станция с ядерными боезарядами на борту. Эта станция была предназначена для нанесения удара из космоса по крупным городам и объектам США. Ее запуск был осуществлен с помощью модернизированного варианта баллистической ракеты Р36 (SS9)¹. Запуски таких смертоносных объектов с Байконура продолжались до 1971 года. Отсюда же производились запуски ракет и космических объектов по программе “противоспутниковых систем”. Первой из таких систем была система “Полет”, разработанная в ОКБ Челомея и запускаемая на орбиты в 1963–1964 гг. с помощью модернизированной ракеты Р-7. К 1965 году также в ОКБ Челомея была разработана новая “противоспутниковая” система, которая тоже запускалась с Байконура при помощи баллистической ракеты Р36 конструкции М.К.Янгеля” (ж-л “Альтернатива” № 39, 12 января 1995 г. Израиль).

Так что подготовку к “звездным войнам” СССР начал задолго до появления в прессе этого пропагандистского термина.

Заметим, что эти запуски были произведены до заключения в 1972 году “Договора об

ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)“, согласно которому стороны отказывались от запуска на орбиты ядерного оружия. Где они теперь, эти космические ядерные бомбы? Сгорели ли в атмосфере, рассеяв в ней радиоактивную пагубу, или продолжают еще крутиться? И как бы реагировал Сахаров 1970–1980-х гг. на СОВ, если бы знал этот секрет? Слышал ли он об этом что-либо или нет? Последнего мы, наверное, никогда не узнаем.

Нет оснований предполагать, что разработчики этих космических бомб и выведших их на орбиты ракет относились к своей работе менее ответственно, чем в свое время Сахаров – к разработке их будущих термоядерных зарядов.

Касаясь 1960-х годов, Сахаров пишет в своих “Воспоминаниях” (стр. 352): “...несмотря на высокий гриф секретности, еще больше все же не попадало в мой круг”. И далее: “Но и того, что пришлось узнать, было более чем достаточным, чтобы с особенной остротой почувствовать весь ужас и реальность большой термоядерной войны. На страницах отчетов, на совещаниях... на схемах и картах немыслимое и чудовищное становилось предметом детального рассмотрения и расчетов, становилось бытом, пока еще воображаемым...” (там же, стр. 352-353). Но почему не почувствовал он этого ужаса раньше, во время столь ярко описанных им испытаний (там же, стр. 231 – 232 и 253-254) и разговоров с такими субъектами, как Берия, Завенягин, Неделин, Славский и т. п.? Почему не задумался над тем, что **люди вправе искать и должны найти и технические способы защиты от этого апокалипсиса?**

21 августа 1973 года Сахаров сказал на состоявшейся у него на квартире первой пресс-конференции по поводу так называемой “разрядки”: “Запад должен избегать действий, которые привели бы к получению СССР военного превосходства” (там же, стр. 529). По всей видимости, это относилось к любым областям, в том числе и к космосу. Начавшаяся после его интервью шведскому корреспонденту Улле Стенхольму от 4 июля 1973 года газетная травля, после этой конференции стала оголтелой – совершенно такой же, как травля Солженицына, а до того – Пастернака.

Через десять лет Сахарову удалось пере-

дать из горьковской ссылки письмо американскому профессору, физику С. Дреллу об опасностях, связанных с ядерной войной. Сахаров пишет там, в частности: «Мы можем представить себе, что потенциальный агрессор, именно в силу того факта, что всеобщая термоядерная война является всеобщим самоубийством, может рассчитывать на недостаток решимости подвергшейся нападению стороны пойти на это самоубийство, т. е. может рассчитывать на капитуляцию жертвы ради того, что еще можно спасти» (там же, стр. 914).

И далее: «...не следует... исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран только в силу их якобы прогрессивности или в силу пережитых ими ужасов и потерь войны... просоветская пропаганда в странах Запада ведется давно, очень целенаправленно и умно, с проникновением просоветских элементов во многие ключевые узлы, в особенности в масс-медиа. Насколько трудно вести переговоры по разоружению, имея “слабину”, показывает история с “евро-ракетами”²: очень важно добиваться уничтожения мощных ракет шахтного базирования. Пока СССР является в этой области лидером, очень мало шансов, что он от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты МХ³, – может, придется Западу это сделать» (стр. 915-916).

Противоракетной обороны и связанных с ней проблем Сахаров здесь почти не касается. Лишь замечает: “В литературе много пишут о возможности разработки систем ПРО, использующих сверхмощные лазеры⁴, пучки ускоренных частиц (? – С.Т.) и т.п. Но создание на этих путях эффективной защиты от ракет кажется мне очень сомнительным...” (там же, стр. 915).

Как следует из контекста письма, под потенциальным агрессором понимается СССР. Неудивительно, что это письмо, опубликованное западной прессой, вызвало новую злобную антисахаровскую кампанию в Советском Союзе, к этому времени уже развязавшем агрессивную войну в Афганистане.

Следует обратить внимание на то, как разместили к этому времени разрешенные вышеуказанным договором средства противоракетной обороны СССР и США:

Власти СССР знали, что США первыми

большую термоядерную войну не начнут, и сконцентрировали средства противоракетной обороны вокруг Москвы и, возможно, некоторых других важных центров для их защиты от ответного удара. Власти США сосредоточили средства противоракетной обороны на защите своих ракетных баз, чтобы обеспечить нанесение ответного удара в случае советского ракетного нападения – и тем самым удерживать СССР от такового.

В 1979 году было создано кольцо противоракетной обороны вокруг Москвы. В США была разработана система ПРО “Патриот”, предназначенная для осколочного поражения ракет противника на подходе к цели – позициям баллистических ракет. Во время войны в Персидском заливе эта система получила боевое крещение в борьбе с иракскими ракетами небольшой дальности “Скад” советского производства.

Выведенный незадолго до начала войны на геостационарную орбиту американский спутник регистрировал – на фоне бомбардировок и ракетных обстрелов – запуски иракских ракет и определял направление их полета (чем не элемент СОИ?), о чем в течение нескольких секунд оповещались службы ПРО США в Саудовской Аравии и Израиле. Тем не менее успех был далеко не 100%-м, чего для защиты от ядерного удара недостаточно.

Крупные ракеты с боеголовками осколочного действия, способы наведения которых не рассчитаны на прямое соударение с целью, не обуславливают на 100% ее поражения. Против массовой атаки ракетами с разделяющимися ядерными боеголовками они в принципе малоэффективны еще и потому, что их невозможно производить и запускать в количествах, хотя бы на порядок превышающих количество настоящих и ложных боеголовок атакующей стороны. Для этого требовалась принципиально иная техника.

Судя по мемуарам, Сахаров никогда вплотную не занимался проблемами космической техники – посещения предприятий ракетно-космического комплекса (там же, стр. 234) не в счет. Правда, в последние годы его пребывания на объекте – как раз тогда, когда СССР начал орбитальные запуски ядерных зарядов и противоспутникового оружия – ему пришлось участвовать в (по-видимому, строго закрытых) горячих обсуждениях, связанных с

“исследованием операций”. Именно тогда он (и большинство неназванных им коллег) пришли к выводам о бесперспективности разработки системы противоракетной обороны с элементами космического базирования (типа СОИ), которые, как он считает, сохранили свое значение и ко времени написания мемуаров (там же, стр. 352).

Но то, что он, вернувшись из горьковской ссылки, решительно выступит против СОИ на состоявшемся в Москве 14–16 февраля 1987 года “Форуме за безъядерный мир, за международную безопасность”, было весьма неожиданным и загадочным.

Правда, незадолго до своего возвращения он затронул этот вопрос (точнее – вопрос о “пакете”, т.е. о связывании сокращения ракетно-ядерных вооружений с прекращением разработок новых средств защиты от них) в беседе с приехавшим к нему тогдашним президентом АН СССР Г. И. Марчуком (А.Д.Сахаров, “Горький, Москва, далее везде”, стр. 31). Тем более что Сахаров сам характеризует этот “Форум” как “широко организованное пропагандистское мероприятие” (там же, стр. 48). Более того, одним из “дирижеров” Форума был вице-президент АН СССР Е. П. Велихов – тот самый Велихов, который незадолго до этого “не лез за словом в карман”, рассказывая всякие небылицы о полном благополучии Сахарова в горьковской ссылке. Так, в разговоре с одним из иностранных друзей Сахарова, он установил некий рекорд в этом жанре, сославшись на сведения, полученные от первой жены Сахарова, Клавдии, якобы живущей в одном доме с Велиховым. И это при том, что Клавдия умерла еще в 1969 году, а Велихов жил в отдельном коттедже на одну семью (там же, стр. 49). В начале января 1987 года Велихов приходит к Сахарову в дом в качестве “няньки” итальянского физика Зикики, “которого он не мог пустить к нему одного” (там же). И Сахаров не выставляет Велихова вон, как когда-то клеветника Н.Н. Яковлева (“Воспоминания”, стр. 855), а сидит с ним за бутылкой принесенного тем вина и слушает его почтительные речи.

Потом Сахаров расскажет на Форуме о том, что мощные ракеты «Земля – Земля» шахтного базирования, в особенности с разделяющимися боеголовками точного индивидуального наведения, могут быть успешно применены для разрушения стартовых пози-

ций ракет противника. И по той же причине они могут быть легко уничтожены на земле аналогичными ракетами противника, запущенными раньше. При этом одна такая ракета сможет разрушить **несколько** пусковых шахт. Таким образом, возникает соблазн нанесения ракетно-ядерного удара первым. Сторона, опирающаяся в основном на шахтные ракеты, может, по словам Сахарова, оказаться **вынужденной** в критической ситуации к нанесению первого удара. Поэтому шахтные ракеты, и вообще ракеты с уязвимыми стартовыми позициями, являются, по его мнению, важнейшим фактором военно-стратегической нестабильности, а развитие средств противоракетной обороны может только увеличить уровень этой нестабильности (там же, стр. 53-54).

Основные аргументы Сахарова против СОИ заключаются в следующем:

“Эффективная противоракетная оборона (ПРО) невозможна, если противник обладает **сравнимым** (выд. С.Т.) военно-техническим и военно-экономическим потенциалом. Всегда с затратой гораздо меньших средств противник может найти такие способы преодоления ПРО, которые сведут на нет ее наличие (“Воспоминания”, стр. 352).

...система СОИ не эффективна. Объекты СОИ, размещенные в космосе, могут быть выведены из строя еще на неядерной стадии войны, и особенно в момент перехода к ядерной стадии с помощью противоспутникового оружия, космических мин и других средств” (“Горький, Москва, далее везде”, стр. 55-56).

А что такое “космические мины”? Ведь это не что иное, как спутники, способные тем или иным образом уничтожать находящиеся на орбитах объекты СОИ. Тем самым Сахаров как бы признает возможность подобных работ в СССР – несмотря на “непомерную стоимость работ по СОИ” и на то, что “сторонники СОИ в США, возможно, рассчитывают с помощью усиления гонки вооружений, связанной с СОИ, экономически измотать и развалить СССР” (там же, стр. 56).

При этом Сахаров утверждает, что “нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные ресурсы и СССР политически и экономически развалится – весь исторический опыт свидетельствует об обратном” (там же, стр. 53).

Заметьте: это писалось им во время “перестройки”, когда “застой” уже явственно переходил в спад, а признаки надвигающегося распада СССР проявлялись достаточно отчетливо. А ведь Сахаров задолго до того был **знаком** с нелегальными самиздатскими работами, предсказывавшими неминуемый крах советской системы и объяснявшими его причины. Последнее видно из упомянутого выше его интервью шведскому корреспонденту Улле Стенхольму (1973), где он характеризует советский социализм как “предельную форму” капитализма, в котором “государство выступает в роли монопольного хозяина всей экономики” (“Воспоминания”, стр. 869-870).

Почему же тогда более чем за четверть века, изобиловавшую глобальными политическими конфликтами и кризисами, так и не разразилась термоядерная война? Что США развязывать ее не хотели – даже с минимальным риском – понятно. А СССР?

На это имеются, может быть, даже более ста двадцати причин. Но достаточно и одной: когда СССР начал широкое развертывание ракет шахтного базирования, США уже имели достаточно баллистических ракет с подвижным и мало уязвимым стартом, в том числе – на подводных и воздушных ракетносцах, а потом и крылатых ракет различного базирования. Тем самым они в любом случае не теряли способности нанести уничтожительный ответный удар того же масштаба по СССР.

Почему Сахаров игнорирует этот важнейший фактор – не ясно. Но военные деятели бывшего СССР его, как мы видим, не проигнорировали.

Не так давно появились сообщения о том, что разведка США получала на протяжении продолжительного времени из СССР от своих агентов – полковника О.Пеньковского, генерала Д.Полякова (оба они были впоследствии расстреляны) и других – достоверные сведения о том, что огромное большинство советских военных руководителей **не надеялись** на возможность победы в ядерной войне и боялись **ее не меньше**, чем американские (см., к примеру, ст. ст. Б.Хургина “Шпион-идеалист и шпион-предатель” и А.Гранта “Так кто же раскачал лодку”, гл. 5, помещенные в “Новом Русском Слове” соответственно 12 августа 1994 г. и 3 января 1995 г.).

Так могли ли советские руководители при

этих обстоятельствах поспешить начать ядерную войну только из-за того, что в США начали разработку новых средств противоракетной обороны, которые когда еще появятся? Другое дело, что когда там наметился успех, они постарались с помощью пропаганды и агентуры влияния притормозить их разработку в США (как в свое время – термоядерного оружия) и одновременно форсировать аналогичные разработки у себя. Насколько возможно.

Но, если СОИ в принципе так легко преодолима, так мало эффективна – как для отражения “первого удара”, так и “удара возмездия”, – то как она вообще может сказываться на балансе стратегического равновесия, или затруднять переговоры о разоружении, или вообще как-то влиять на что-то? А если стоимость ее при этом так непомерна, то зачем было Советскому Союзу вообще тягаться с США в этой столь дорогостоящей и притом бесполезной и бесперспективной области?

И почему тогда США, пусть и через пень-колоду, но продолжают разработку СОИ, а СССР прикладывает столько усилий, чтобы им в этом помешать? Почему советское руководство, имеющее высококвалифицированных экспертов и разведку, не худшую, чем в 1940–1960-е годы, так заинтересовано в прекращении этих разработок? Настолько, что готово в обмен пойти на ряд серьезных уступок в вопросах о ядерном разоружении (“Горький, Москва, далее везде”, стр. 31, 50)? Ему ли жалеть деньги американского налогоплательщика?

Неужели Сахаров не видит всех этих парадоксов и противоречий?

При этом он делает важную оговорку, что “в настоящее время ни одна сторона не может отказаться от поисковых работ в области СОИ, поскольку нельзя исключить возможности неожиданных успехов...” (там же, стр. 56). С чьей стороны?

Почти за двадцать лет до этого “Форума”, в 1968 году, Сахаров отметил в одном из вариантов “Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе”, что “в производстве средств автоматики, вычислительных машин... и в особенности в научных, научно-технических и научно-технологических исследованиях, мы имеем не только отставание, но и меньшие темпы роста...”

Так можно ли советский военно-технический потенциал 1980-х годов (об экономическом и говорить нечего) рассматривать как равный американскому? И есть ли в таком случае основания экстраполировать выводы, полученные из “исследования операций” середины 1960-х годов, на 1980-е?

В начале 1960-х гг. США, оправившись от шока, вызванного неожиданным советским прорывом в космос, запустили своих первых космонавтов на круговые орбиты на самой границе околоземного космоса, проходящей на высоте примерно 150 километров над Землей. Такие запуски требуют весьма высокой точности, ибо даже очень малое отклонение орбиты космического корабля от расчетной приведет к его входу в атмосферу на первом же витке...

В 1966 году американские астронавты осуществили первую стыковку космического корабля “Джеминай” с беспилотной “летающей бензоколонкой” – ракетой “Агена” и, используя находившееся в ней топливо, совершали маневры, изменяя орбиту своего корабля. СССР осуществил первую стыковку космических кораблей только через три года, когда американские космонавты уже осваивали полеты на Луну. Во второй половине 1970-х гг. США начали серию запусков беспилотных космических станций к большим планетам с облетом их по гиперболам, используя поле тяготения этих планет для изменения траектории станции. Такой “космический бильярд” позволяет направлять станции к другим дальним планетам, либо в сторону Солнца, а также выводить их за пределы эклиптики. Некоторые полеты производились с двукратными облетами и поворотами. Подобные маневры не нуждаются в затратах энергии, но требуют величайшей точности управления. Следует отметить, что СССР подобных экспериментов не производил.

И потому неудивительно, что в 1983 году США сбили небольшой двухступенчатой ракетой, запущенной с истребителя-бомбардировщика F-15, свой отработавший спутник “Solwind”. По всей видимости – прямым попаданием. Неожиданный (и вместе с тем ожидаемый) успех, в корне меняющий ситуацию с перспективами СОИ.

Другое направление разработок СОИ – лазерное оружие. Идея прожигающего, поджи-

гающего, сжигающего луча как оружия занимает воображение человечества, по меньшей мере, со времен Архимеда и вплоть до наших дней. Вспомним, к примеру, роман Г.Уэллса "Война миров" или А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина". Конечно, прожечь оболочку летящей ракеты – это совсем не то, что ослепить живой или электронный глаз. Но, судя по недавним сообщениям, США уже разработали использующий энергию горения химический лазер мощностью в тысячи киловатт, способный работать в космосе...

Между тем борьба с ракетами, несущими по несколько боеголовок, обещает наибольший успех при их поражении еще над территорией противника в первую минуту после запуска прямым попаданием небольшого снаряда или мощным лазерным лучом. Как же тут обойтись без элементов космического базирования? Но все это уже качественно новый технический уровень (не чета уровню середины 1960-х годов), до которого во второй половине 1980-х годов Советскому Союзу было весьма далеко. Более того, СССР был экономически уже не в силах его достигнуть.

Насколько поэтому важны были для властей СССР выступления Сахарова против СОИ за рубежом, показывают дальнейшие события. После двукратного обращения Велихова Политбюро отменило запрет на поездки Сахарова за границу. Тут потребовалось еще и официальное поручительство его бывшего начальника – научного руководителя "объекта Арзамас-16" (советского "Лос-Аламоса") акад. Ю.Б.Харитона. Того самого, который после публикации упомянутого выше интервью Сахарова Улле Стенхольму подписал в числе сорока академиков антисахаровское письмо, озаглавленное "Поставщик клеветы", напечатанное в "Правде" от 29.8.1973 г. Сахаров пишет:

"Я не знаю, что написал Ю.Б. в своем поручительстве – то ли, что я не могу знать ничего, что представляет интерес после 20 лет моего отстранения от секретных работ, то ли, что я человек, которому безусловно можно доверять и который ни при каких условиях не разгласит известных ему тайн". И далее: "Это необычное действие Харитона безусловно было актом гражданской смелости и большого личного доверия ко мне" ("Горький, Москва, далее везде", стр. 113).

Со стороны складывается другое впечатление: в 1973 году акад. Харитону "рекомендовано" было подписать позорное письмо сорока, а в 1988 году его попросили о другой услуге. Оба раза он действовал в духе времени, выполняя указания власть имущих. Поистине поразительна та наивность, которая позволила Сахарову этого не заметить.

В разговоре с Марчуком Сахаров высказал мысль о целесообразности своей встречи с Теллером:

"Это была бы встреча двух независимых и авторитетных людей для выяснения разных принципиальных подходов к проблемам разоружения, СОИ и т.п." (там же, стр. 31).

Встреча эта состоялась в день восьмидесятилетия Теллера, перед торжественным заседанием, и продолжалась тридцать минут. Сахаров рассказывает:

"Я навел разговор на СОИ, поскольку именно ради выяснения глубинных основ его позиции в этом вопросе я приехал. Как я понял, основное, что им движет, – принципиальное, бескомпромиссное недоверие к СССР".

Но ведь Сахаров за пять лет до того сам призвал "...не исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран..." Вряд ли Теллер не читал тогда его нашумевшего письма к Дреллу. А если и нет, то и без этого для такого подхода у Теллера за его долгую жизнь набралось достаточно оснований. "Перестройка", "гласность" и со скрипом идущее освобождение политзаключенных мало что меняли в принципе: СССР был по-прежнему Союзом Советских Социалистических Республик, в котором КПСС еще сохраняла свою монополию власти.

Сахаров продолжает изложение взглядов Теллера:

"Сейчас стала в повестку дня задача создания системы защиты от советских ракет. И она может и будет решена. Щит лучше, чем меч".

И поясняет:

"За всем этим стоит подтекст – мы должны сделать такую защиту первыми, вы пытаетесь нас запутать, отвлечь в сторону, сбить с правильного пути и сами втихомолку делаете то же самое уже много лет" (там же, стр. 116).

Хорошо же был осведомлен Теллер!

Сахарову уже некогда было отвечать. Или нечего?

В своем официальном выступлении Саха-

ров повторил все свои соображения по поводу СОИ. При выходе Сахарова приветствовал американский военный в парадной форме и пожелал успеха. Сахаров пишет, что *чуть* не ответил ему тем же. Это был генерал Абрахамсон, руководитель программы СОИ (там же, стр. 117). Почему же нельзя было пожать ему руку? Ведь пожимал же Сахаров руку и Берию, и Ворошилову, и Брежневу, и Завенягину, и Славскому, и Неделину, и Александрову, и Велихову и многим другим, после которых следовало бы мыть свою долго и тщательно.

Советский Союз распался сам, почти бескровно. Его бывшие восточно-европейские сателлиты тяготеют к Западу. Но трудно предсказать, какие силы могут прийти завтра к власти в государствах, образовавшихся на месте бывшего СССР; в чьи руки попадут десятилетиями накапливавшиеся, рассредоточенные по его бывшим республикам ядерные арсеналы. Очень пугает пример многонациональной и многоверной Югославии. Что ни день газеты сообщают о пресечении российскими и другими спецслужбами попыток нелегального вывоза ядерных материалов. Об удачных акциях такого рода, оставшихся нераскрытыми, можно только догадываться. Вот-вот ракетно-ядерное оружие окажется в

руках экстремистских террористических государств типа Северной Кореи, Ирана, Сирии или Ливии. Его обладателем едва-едва не успел стать Ирак. Уж их правители не будут рассуждать о морали и гуманизме, решая вопросы о применении ядерного оружия. Кто может с уверенностью сказать, как поведет себя давно уже обладающий ракетно-ядерным оружием почти полуторамиллиардный Китай после окончания “эры Ден Сяо-Пина”? Удержать овладевшего оружием массового уничтожения беспощадного, фанатичного агрессора мировая демократия сможет, только обладая прочной противоракетной обороной в сочетании с угрозой точного и неотразимого уничтожительного контрудара.

Как бы отнесся Сахаров к вопросу о СОИ сегодня, рассуждать не берусь, но, к счастью, в свободном мире есть силы, относящиеся к этой проблеме достаточно серьезно. В шестом пункте выдвинутого республиканской партией США “Контракта с Америкой” говорится:

“Необходимо создавать мощную систему обороны, в том числе и системы противоракетной защиты для отражения возможного нападения со стороны диктаторских режимов”.

Дай Бог!

ПРИМЕЧАНИЯ

1 SS в американской терминологии означает “Земля – Земля” (“Soil – Soil”).

2 Речь идет о советских ракетах среднего радиуса действия SS-20, установленных в начале 1980-х гг. в странах Варшавского пакта, и американских ракетах “Першинг”, установленных в ответ в странах НАТО.

3 Межконтинентальные ракеты нового (тогда) поколения с разделяющимися боеголовками.

4 В интервью Н.Бетеллу (“Континент”, № 52, 1987) Сахаров сообщает о возможности создания рентгеновского лазера, возбуждаемого ядерным взрывом.

В.Пирожкова

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Продолжение (см. № 72–73)

Часть вторая. ВОЙНА

Под немецкой оккупацией

Как я уже упоминала в своей автобиографии, я была по натуре активным человеком, но должна была постоянно подавлять эту активность, так как не могла быть активной в коммунистическом духе, а другой активности тоталитарная власть не допускала. Вся эта загонявшаяся внутрь активность, страстное желание говорить, быть услышанной, обсу-

дить с другими то, что вынашивалось столько лет внутри, – все это вырвалось наружу. Это было первое опьяняющее переживание свободы.

Эти строки, возможно, многих удивят: как могло возникнуть ощущение свободы под чужой оккупацией? Но оно возникло. Конечно, стало можно вслух критиковать коммунизм

или советскую власть, но, как ни странно, стало вообще возможно свободно разговаривать друг с другом. Убежденные коммунисты и защитники советской власти не стеснялись спорить с нами, ее противниками. Я часто вела жаркие споры с моими сверстниками, и на моей стороне были многие, но и те, кто защищал советскую власть, не стеснялись этого делать. Разве мы могли так разговаривать еще недавно? Ведь “стены имели уши”, как говорилось в сталинское время. Чуть что не каждый третий был стукачом, или мы, во всяком случае, в каждом третьем такового подозревали. Но даже самым ярким противникам советской власти не приходило даже в голову пойти и донести на сторонника этой власти немецкой комендатуре или тайной полевой полиции. В комендатуре вообще не стали бы и слушать, мало ли кто что говорит, за словами они не следили, – вот если б кто-нибудь сообщил, что им собираются подложить бомбу! Стала бы заниматься этим тайная полиция? Не знаю, но ни у кого не было и мысли, что свой, русский, каких бы взглядов он ни придерживался, может донести на другого русского за то, что у него другие взгляды. Это казалось совершенно диким. И все говорили, что думали, горячо спорили. Тогда я глубоко поняла, что никакое иноземное владычество не может сильно поработить и развратить народ, как “своя” идеологическая диктатура. Идея с помощью войны сбросить эту идеологическую диктатуру, сбросить страшного Сталина мною полностью владела. Тогда, я помню, записала в своих записках: “Надо спасти душу народа”. Теперь, после 74 лет господства коммунистической идеологии, когда я нахожусь в России, я не перестаю удивляться тому, как удалось коммунистам все смешать в умах людей. Именно в умах. В России сейчас не меньше хороших людей, чем где бы то ни было в другом месте, может быть, даже больше, и это весьма отрадно, но понятия настолько перепутаны, что нередко можно прийти в отчаяние.

Однако это отступление в настоящее. Помню, как очень близкая мне Д.Штурман написала, что русские готовы были бороться за освобождение России от большевизма ценою жизни многих миллионов евреев. Увы, и здесь полное смешение понятий. Кто же нас спрашивал, на какую цену мы согласны за освобождение России? И что мы вообще зна-

ли? Я уже упоминала о том, какой ответ был дан Б.Эман относительно псковских евреев, но сама она не пострадала за ее поход в комендатуру и вопрос. А что было бы с каким-либо советским гражданином, который пошел бы, ну хотя бы в горсовет, и спросил, что случилось с теми, кто в Пскове в эту ночь был арестован НКВД? У нас появилось какое-то пространство для слов и для дел, и мы зачастую инстинктивно старались использовать это пространство для того, чтобы попытаться вырваться из совершенно тотальной диктатуры, в которой мы задохнулись, вырваться самим и вырвать из нее Россию, что, конечно, может показаться донкихотством, но мы бились внутри бушевавших нас сил не только для спасения своей жизни, но и для своего народа и своей страны.

А вокруг нас была такая же чересполосица хорошего и дурного, человеческого и страшного. Так, например, мне приходилось нередко ходить переводчицей с немецкими военными врачами к русским больным. Официально русским больницам и практиковавшим русским врачам выдавалось известное количество лекарств и у них должно было лечиться русское население, военным же врачам было запрещено пользоваться русское население. Но врачи с этим запретом не считались. Я не знаю случая, когда военный врач или фельдшер отказался бы пойти к русскому больному, даже поехать на открытой телеге, в мороз (затребовать свою машину они не имели права) в отдаленную деревню. Они также всегда давали медикаменты из военных запасов, списывая их на якобы заболевших солдат. Помню, я как-то была с военным врачом в простой русской семье, где заболела 2-летняя, довольно замурзанная девчушка. Врач установил ангину, дал соответствующее лекарство, затем, погладив ребенка по головке, сказал: “Про нас говорят, что мы убиваем детей, нет, мы детей не убиваем”. Знал ли он об еврейских детях? Я уверена, что не знал.

Страшной была проблема военнопленных. Их можно было видеть время от времени на улице, когда их колонна шла в лагерь и они толпой бросались на хлеб, который им подавали. Самих лагерей военнопленных в черте города не было, а военнопленные, находившиеся в черте города, работали при отдельных немецких военных частях, и они вытаскивали лотерейный билет, так как они не голо-

дали. Но раз я ездила вместе с дочерью знакомого врача в один из лагерей недалеко от города навестить попавшего в плен товарища моих детских игр Диму. Мы его потом вытащили из лагеря, и он жил в Пскове свободно. Немцы вообще нередко отпускали на свободу военнопленных, если последние находились на территории своего родного города или деревни, особенно если у них были там родственники, которые могли их взять. Военных врачей отпускали и в чужих местах, так в псковских больницах потом работали некоторые бывшие военные врачи, хотя они не были псковичами.

Но эта поездка дала наглядное представление о положении военнопленных, о котором много говорилось в городе. После этого посещения я сделала запись: "Так, Боже мой, какой ужасный вид имеют военнопленные. Бледные, измученные, больные, грязные, обтрепанные. Они идут и просят корочки хлеба, а если им дашь пищи, они прямо бросаются и рвут друг у друга. Я знаю, как бесконечно трудно в военное время, во время такой тяжелой войны хорошо содержать и кормить около 4-х миллионов пленных, но все же неужели они не могли бы поставить их в более человеческие условия?" У меня реакция на шок всегда очень запоздалая, она сказывается через день или даже через два. Так и после посещения этого лагеря, на другой день, мне вдруг неожиданно стало дурно, закружилась голова, чего вообще у меня не бывает, так что немолодая женщина, взглянув на меня, бросилась меня поддерживать. Потом и это впечатление перекрылось идеей освобождения России. Война разразилась независимо от нас, и прекратить ее было тоже вне наших возможностей. Но, может быть, ее можно было использовать все для той же цели: освобождения России от большевиков.

Первая военная зима была весьма суровая. После необычно жаркого и сухого лета наступила ранняя и морозная зима. В эту зиму умерло много военнопленных. И сколько среди них было пассивных перебежчиков, которые не хотели сражаться за коммунизм, за советскую власть. Многие были уверены, что получат оружие и смогут сражаться против Сталина и его безумной диктатуры. Никто так и не сосчитал, сколько их тогда умерло от холода и болезней.

Было это сознательное уничтожение "ун-

терменшей" со стороны нацистов? Если такие намерения на верхах и были, то я все же и до сих пор думаю, что командование армии в них сознательно не участвовало. За это говорит и разница в положении разных лагерей. Были лагеря, где в эту зиму не умер ни один человек. Предпосылки были:

1) Комендант такого лагеря не держался тупо предписанных правил, запрещавших брать пищу от населения для лагерей (личные передачи разрешались, не разрешалось общее снабжение и скопление гражданского населения около лагерей). Однако были коменданты, пренебрегавшие этим запретом и разрешавшие гражданскому населению раздавать пленным хлеб и вареную картошку.

2) Комендант следил сам со своими немецкими помощниками, чтобы скудные порции раздавались всем равномерно. Это были малые порции, но их было в общем достаточно, чтобы здоровый человек не умер с голода. Однако в большинстве лагерей раздача поручалась "старшим" из самих военнопленных, а в "старшие" пробивались ловкачи или нередко советские агенты, тем более что они более или менее владели немецким языком. Они забирали для себя и своих большие порции продовольствия, оставляя других голодать.

3) Коменданты, которые строго следили за гигиеной. В этих лагерях пленные не умирали или лишь в редких случаях. То, что почти четыре миллиона пленных для немцев оказалось полной неожиданностью, говорит об их политической неподготовленности к войне, но в значительной степени объясняет и катастрофу с пленными. В 1942 г. пленные уже не голодали: я помню, как шла их колонна через Псков и кто-то подал целую буханку хлеба, ближайший взял, сказал "спасибо" и все спокойно пошли дальше. Год тому назад произошла бы свалка, на эту буханку бросились бы многие из колонны.

Но, так или иначе, катастрофа с пленными сыграла огромную роль и не могла не сыграть: если вначале было много добровольно сдававшихся, если были надежды на превращение внешней войны в гражданскую против коммунистической диктатуры, то теперь эти надежды пропали, – слухи о положении военнопленных переходили через фронт и, конечно, не только использовались, но и преувеличивались, распространялись на гражданское

население советской пропагандой. Даже те, кто ненавидел Сталина и коммунистов, стали видеть в них меньшее зло и принимали решение отстаивать страну хотя бы под ненавистным коммунистическим руководством.

Второе, что меня мучило, была забота о Петербурге. Я вдруг начала этот город называть Петербургом или Петроградом, хотя официально он еще многие десятилетия оставался Ленинградом. Я обожала город и очень боялась, что в ходе военных действий он будет сильно разрушен. Мы все тогда думали, что немцы скоро его возьмут, но они его не брали. Мне приходилось иногда служить переводчицей летчиков-разведчиков, они летали над Петербургом и заверяли меня, что центр города бомбардировкам не подвергается. "Мы ни в коем случае не будем бомбардировать культурные и исторические ценности. Вы можете быть спокойны". Центр города действительно бомбардировкам не подвергался. Как ни странно, я больше беспокоилась о самом городе, чем о моих родных в нем, мне почему-то казалось, что они переживут взятие города. Мои школьные подруги в Псков не вернулись, они застряли в Ленинграде. Как-то раз меня остановила на улице незнакомая девушка и сказала: "А я вас знаю". Оказалось, что она на первом курсе училась на математическом факультете ЛГУ, но потом перешла в другой вуз. Мы были в разных группах, и я ее не помнила, она же меня тогда заметила. Но она теперь попала в Псков не из самого города, а из его окрестностей, где они жили. Отца ее, железнодорожника, арестовали коммунисты, мать пошла работать проводником в поезде и уехала с поездом, на котором работала, в глубь страны за несколько дней до прихода немцев в это местечко. Люся осталась одна со своим младшим 16-летним глухонемым братом. Они оказались на самой линии фронта, так как немцы дальше не пошли, голодали, собирали картошку с полей под снарядами, и в конце концов немцы вывезли жителей в Псков. Здесь Люся нашла работу секретарши в местном управлении, но ей было очень трудно справляться с братом, который потом сбежал к партизанам. Что делал глухонемой мальчик у партизан, трудно сказать, вероятно, он погиб. Люся же ненавидела большевиков и тоже хотела против них как-то бороться. Но ее приводили в ужас русские эмигранты,

приехавшие из Эстонии помогать налаживать жизнь в Пскове. Они ко всем нам относились с величайшим презрением, даже с враждой, в том числе и к тем, кто, как мы обе, родились уже после революции и ни в чем перед их белыми предками виноваты не были. Люся очень страдала от этих эмигрантов, она рассказывала мне, что один из ее сотрудников-эмигрантов заявил: "Надо уничтожить всех, кто старше 5 лет, и затем воспитывать детей для восстановления России". Я таких кровавых высказываний не слышала, но однажды дама из той же канцелярии сказала мне презрительным тоном: "Вы все косоглазые, вы не можете построить в России ничего хорошего, мы должны будем командовать вами". Мой ответ был, конечно, соответственно: "Ну пусть мы, по-вашему, косоглазые, но мы построим Россию так, как будем считать нужным, а вы нам не нужны". Закрыв лицо руками, все это слушала другая русская, из Эстонии, значительно более молодая. Когда презрительная дама вышла, она сказала: "Неужели мы России уже не нужны?" Я поспешила заверить ее, что это касается только тех эмигрантов, которые думают так же, как та, что говорила.

Но я отвлеклась. Немцы не брали Петербурга, очевидно не желая брать на себя ответственность за снабжение многомиллионного города, но как отражается блокада на жителях, я как-то не могла себе представить. Отвлеченное другими проблемами воображение не сработало, хотя я и слышала зловещие слова Гитлера. По нашему громкоговорителю передавали, конечно, передачи прямо из Пскова, но иногда включали немецкое радио, и мы могли слышать речи нацистских вождей в оригинале. В одной из таких речей Гитлер сказал: "Leningrad wird verhungern" (Ленинград погибнет от голода). Меня эта фраза ударила, я ее даже еще сейчас слышу, и все же я как-то не смогла себе представить, как буквально ее следовало понимать. Сознание человека не может одновременно объять всего, и страшная реальность голодной блокады прошла почти мимо моего сознания.

На первые дни войны пала моя первая, короткая и чисто платоническая влюбленность. Чтобы покончить с этой темой, отмечу сразу же, что меня до такой степени занимали другие проблемы, если угодно, другие страсти, страсть справедливого устройства страны и

даже всего мира, страсть найти смысл жизни, что для обычных чувств молодости почти не оставалось места. Тем не менее отдельные, всегда платонические влюбленности были, как с моей стороны, так и влюбленности в меня. Но они всегда шли вразрез друг другу. Если увлекалась я, мною не увлекались, если бывали в меня влюблены, иногда сильно, я оставалась совершенно равнодушна. Видимо, Господь готовил мне другую судьбу.

Вскоре после вступления немецких войск к нам как-то зашли два офицера о чем-то спросить. Говорила с ними, конечно, я, так как только я владела немецким языком. Было очень жарко, на столе у нас стоял графин с кипяченой водой. В России и до сих пор не пьют воду прямо из-под крана, а кипятят ее, тогда тоже так делали. И вдруг более молодой из офицеров, высокий блондин, спросил по-русски: "Это хорошая вода? Можно пить?" Это было так неожиданно, а произношение было таким чистым, что я на момент остолбенела и не сразу ответила, что воду пить можно. Дали стакан, он напился, и они ушли. Но я не могла его забыть и была уверена, что он скоро опять появится. В самом деле, уже через несколько дней он снова у нас появился. Теперь он зашел по делу. У него была идея собрать интеллигентных и антикоммунистически настроенных русских, чтобы положить начало самоуправлению и выработке новых идей для России. Идея эта была весьма привлекательна. Теперь стало ясно, что этот офицер не так хорошо говорил по-русски, ему нередко не хватало слов или он делал грамматические ошибки, но произношение было безукоризненно. Оказалось, что он из русских немцев. Отец погиб в гражданскую войну, дядя бежал в Германию, и ему как-то удалось вывезти племянника, когда тому было 8 лет. Мать и сестра его остались в советской России. Произношение у него сохранилось с детства, но запас слов был недостаточный, так что мне приходилось иногда помогать в разговоре. О матери и о сестре он ничего не знал и надеялся их разыскать. Мой отец охотно согласился участвовать в такой группе. Дуклау, так звали офицера, попрощался со словами, что он скоро снова зайдет. В этот момент я знала, что никогда его больше не увижу. Несколько недель спустя я увидела на улице того офицера, который первый раз заходил к нам вместе с Дуклау. Собрав все

свое мужество, – у нас тогда были строгие правила, и не полагалось молодой девушке спрашивать о мужчине, – я подошла к нему и спросила, куда девался его товарищ. Он ответил, что тот был неожиданно послан на передовую линию. Проектом группы русской интеллигенции никто больше не интересовался.

Должна отметить, что это явление не было случайностью, а правилом: если появлялись офицеры, интересовавшиеся сотрудничеством с русским населением, скажем, умные и пытавшиеся понять население руководители отдела пропаганды, они быстро исчезали и на их место водворялись типичные бюрократы, тупые функционеры вроде советских, которые все портили не по злобе, а по полной неспособности к живой инициативной работе. Одного не самого лучшего, но все же неплохого начальника отдела пропаганды "увела" красивая русская девушка, советская агентка. Он так в нее влюбился, что уехал с ней на три дня за город, не сообщив ничего своему начальству. Такое нарушение военной дисциплины во время войны, конечно, не могло остаться без наказания, и он был отправлен на передовую линию фронта. На его место был назначен тупейший бюрократ. О красавице Ане будет еще речь.

Нужно сказать, что многие русские девушки и женщины влюблялись в немецких солдат и офицеров совершенно искренне. Среди них было удивительно много красивых, а когда они вынимали из портмоне и с гордостью показывали фото своих жен или невест, мы только из вежливости удерживались от отрицательных комментариев: женщины были в общем некрасивые. В России же было наоборот, советские солдаты, большей частью маленького роста, носившие следы тяжелого голодного детства, редко бывали красивы. Отчего такая же ситуация не отразилась на девушках, отчего среди них было все же много привлекательных, мне трудно сказать, но Люся как-то заметила, смеясь, что можно было бы создать красивую расу, пережив немецких мужчин на русских девушках – почти план Александра Македонского в Персии! Люся сама была влюблена в немца, но на связь с ним не пошла. Однако не все были так стойки. Немцы же смотрели на временные связи легко и не только потому, что во время войны при обостренном сознании кратковременности не

только пребывания в этом географическом месте, но, быть может, и в этой жизни не думается о связи на всю жизнь, тем более что солдатам во время войны было запрещено жениться на женщинах оккупированных стран, но и потому, что в те времена в Германии моральные понятия уже далеко не были такими строгими, как тогда еще были в российской провинции, несмотря на Коллонтай с ее свободной любовью. Потом в Германии я не так редко встречала молодых женщин с ребенком на руках, женихи или возлюбленные (а не мужья) которых погибли на войне. Русские же, оставшись с ребенком на руках, говорили потом советским властям, что их изнасиловали, что и понятно: если б они сказали, что сошлись добровольно, то их преследовали бы как предательниц. На самом же деле случаи изнасилования были очень редки.

Между тем жизнь шла своим чередом. Открывались церкви. Из прекрасного псковского Троицкого собора были вынесены топорные предметы антирелигиозной пропаганды, – в советское время собор был антирелигиозным музеем, – и там начались богослужения, равно как и в ряде других церквей. Священники приехали из Прибалтики; в самом Пскове, где за два года до войны была закрыта последняя церковь, священников уже не оставалось. Но у меня тогда еще не было влечения к церкви. Богослужения я не понимала, и оно, естественно, меня утомляло, иногда я заглядывала на короткое время в церковь, но это было и все.

Приходится признаться, что театр и кино интересовали меня в то время больше, чем церковь. Псковский Пушкинский театр был открыт для всех. Если там давались представления, то их посещали как жители города, так и немецкие военные, – кто купил билет, тот и шел. Пьесы не ставились, не было театральной труппы; большей частью давались импровизированные представления с любительскими песнями и плясками, иногда даже не такими уж плохими. Приезжало иногда немецкое варьете, и из Риги приезжало русское, которое нам очень понравилось. Руководил им Гермейер, брат моей незабвенной учительницы немецкого языка Лидии Александровны. Она никогда о нем не говорила. Я знала, что у нее был брат-врач, рано умерший, я знала его вдову и двух дочерей. Я

писала о них в первой части своих воспоминаний. Но я и не догадывалась, что у нее есть еще живой брат в эмиграции. И с каким амплуа! Сам он был прекрасным комическим артистом, да и другие члены его варьете были на высоте.

Давал в Пушкинском театре концерты и знаменитый Печковский. О нем я тоже писала в первой части. В Ленинграде он гремел как героический тенор с такими ролями, как Отелло и особенно Герман. О нем даже был сочинен стишок:

Его успех неувядаем,
И лаврам его нет конца.
Хоть в свет вошел он Николаем,
Но Германом вошел в сердца.

Я слышала его в Мариинском театре в его коронной роли Германа, и он мне не очень понравился, особенно его игра, которой многие как раз восхищались. Голос у него был огромный, но чего-то не хватало. Потом брат говорил мне, что слышал от первой жены, певицы, якобы Печковский мало работает над своим голосом. Под немецкую оккупацию он попал под Сиверской, ездил сначала с концертами по оккупированной зоне, приезжал и в Псков, затем уехал в Ригу. В Пскове он выступал с русскими романсами и, к моему удивлению, пел высоким баритоном, а не тенором. Тогда я поняла, что он для выигрышных ролей насиловал свой голос, хотя у него и был большой диапазон. В баритональном ключе он мне понравился гораздо больше. Слышала я потом Печковского и в Риге, опять в его теноровых ролях, в отрывках из “Пиковой дамы” и “Отелло”. Тогда концерт давался в память Собинова, и большинство латышских певцов и певиц пели по-русски. Из Риги Печковский ездил на гастроли в Вену, и был слух, что венцы приняли его прохладно: в Вене чрезвычайно ценят школу, больше чем силу голоса, а как раз со школой у Печковского было не все в порядке. Привыкший к лаврам, он был недоволен и решил остаться в Риге ожидать советскую армию, видимо рассчитывая на свою былую популярность. Но она ему не помогла, и его засадили в концлагерь. Он его пережил, вышел на свободу и был потом преподавателем пения, о славе уже не мечтал. В Пскове в один из его концертов произошел военный инцидент. Советские самолеты Псков до 1944 г. не бомбили, иногда над Псковом показывался разведыва-

тельный самолет, и если это было вечером, мы смотрели, как он серебрился в перекрещивающихся лучах прожекторов. Немецкие зенитки в такие самолеты не стреляли. Но вот как раз во время концерта Печковского над городом, видимо, пролетал бомбардировщик и уронил бомбу. Думаю, это произошло без намерения бомбардировать город, так как была только одна бомба. Она ухнула, в театре вдруг погас свет, некоторые женщины завизжали, военные вскочили с успокоительными "тише, тише, ничего", а Печковский, не растерявшись, пустил такую руладу, что покрыл весь шум в театре. Свет почти сразу зажегся, и концерт спокойно продолжался. Мне импонировало самообладание Печковского. Как потом оказалось, бомба попала в жилой дом, были убитые и раненые.

Ну, а с кино было хуже. В городе было только два кинотеатра, и оба армия забрала как кинотеатры для солдат. А мы ведь тогда так гонялись за иностранными фильмами! Я помню, какой фурор произвели оба американских фильма, ленты которых оказались "военной добычей" короткого похода в Польшу. Оба фильма были музыкальные, один об Иоганне Штраусе, "Большой вальс", другой – "100 мужчин и одна девушка", с знаменитым дирижером Леопольдом Стоковским. Советское кино решило само поставить музыкальный фильм, и так появилась "Музыкальная история" с Лемешевым, но куда ей было до тех двух фильмов! Если сначала мы только облизывались, проходя мимо этих кинотеатров, то потом немцы все же построили деревянный кинотеатр для жителей города, и мы смогли посмотреть немецкие фильмы. Немецкое кино было тогда в расцвете, ставились прекрасные художественные фильмы, была целая плеяда великолепных артистов. Я сейчас не всегда могу сказать, какой фильм я видела еще в Пскове и какой после войны в Германии, но относительно некоторых фильмов я знаю, что видела их еще в России, например, такой фильм, как "Романс в ключе молль", с лучшими артистами – Марианной Хоппе, Фердинандом Марианом, Паулем Дальке и Зигфридом Бреуером. Огромное впечатление производил такой артист, как Генрих Георге: в "Станционном смотрителе" по Пушкину он сыграл этого смотрителя так, как будто всю жизнь прожил в России, но в другом фильме он был типичным немецким

герцогом средних веков. Такие артисты встречаются крайне редко, второго такого я видела позже, это английский артист Алек Гиннес. Запомнились обе шведские артистки, оставшиеся в немецком фильме, Цара Леандер и Марика Рёкк. Или такие комики, как Гейнц Рюман и австрийцы Тео Линген и Ганс Мозер. Кстати, насчет австрийских фильмов: перед игровыми фильмами по тогдашней моде показывали киножурнал, иногда пропагандные кадры из прошедших лет. Так один раз показывали захват Германией Австрии и въезд Гитлера на свою родину. В Вене его приветствовала масса народа, вся площадь была залита людьми (в наше время австрийцы слышат это неохотно, но что делать, так было). Толпа скандировала: "Wir wollen unseren Führer sehen". Рядом со мной сидела студентка Пединститута, с которой я дружила, наклонившись ко мне, она спросила: "Что они кричат?" Зная, что она довольно хорошо владеет немецким языком, я удивилась: "Разве ты не разбираешься?" И я повторила по-немецки эту фразу. Она ответила удивленно: "Мне тоже так слышалось, но ведь это же по-немецки!" Теперь настала очередь удивляться мне: "А как же иначе они должны кричать?" Она: "А по-австрийски".

Кроме киножурналов никакой нацистской пропаганды в кино не было. Все фильмы были аполитичные, исключением был фильм "Еврей Зюс" с антисемитской подкладкой. Да после войны я читала нападки на якобы пропагандный и восхваляющий войну фильм (я его видела в Пскове, после войны его не показывали) "Концерт по желанию". Я совсем забыла содержание этого фильма, сам по себе он на меня не произвел большого впечатления, но два его кадра стоят еще и сейчас передо мной, я их вижу и слышу. Начиналось действие фильма перед войной, летом 1939 года. В квартире молодого пианиста собрались его друзья, и он играет им Шопена на рояле. Окно открыто, так как погода жаркая, и вдруг в окно врывается топот солдатских ног и грубая солдатская песня, мимо дома проходит воинская часть. Нежные звуки Шопена умирают, растоптанные громким шагом солдатских сапог... Разражается война. Молодой музыкант призван в армию. Они во Франции, бои прошли, поздний вечер. Солдат-музыкант идет погулять, видит церковь, заходит в нее, она пустая. Он поднима-

ется по ступенькам к органу и начинает на нем играть. В этот момент чья-то сторона выпускает гранату, осколок ее, разбив стекло, залетает в церковь и попадает в висок играющему на органе. Его голова падает на клавиши, и орган кричит. У меня этот отчаянный крик инструмента и сейчас, через много десятилетий, стоит в ушах, как будто он хочет сказать: "Люди, зачем это? Зачем кровь, зачем убийства?" Если был заказан фильм, восхваляющий войну, то режиссеры явно саботировали этот "социальный заказ": ни один фильм не мог больше оттолкнуть от войны, чем этот, всего лишь двумя своими кадрами.

Когда я была в России, в конце 1994-го и начале 1995 г., скончался какой-то известный русский киноартист, видимо много значивший для послевоенного кино. Тогда я почувствовала, что здесь существует незаполняемый эмоциональный разрыв. Фильмы из СССР доходили до нас редко, киноартистами моей молодости останутся перечисленные и многие другие немецкие артисты.

После войны немецкое кино постепенно умерло. Было еще несколько довольно хороших фильмов со старыми артистами, но по мере того, как время их отходило или они покидали этот свет, умирало и кино. Новых не было, а если появлялись таланты, то уходили в Голливуд. Мне могут указать на ряд популярных молодых режиссеров вроде Фасбиндера, мне эти фильмы, заменяющие художественность и остроумие грязью и порнографией, не по душе. Конечно, другие могут судить иначе.

Одной из роковых ошибок оккупационных властей было сохранение колхозов. Как раз на Украине, где ради создания этих колхозов было загублено столько миллионов крестьян, разочарование было велико. Встречая немцев с цветами, они надеялись прежде всего на ликвидацию ненавистных колхозов. Тогда они существовали всего лишь несколько лет и ликвидировать их было бы очень легко. Но немецкие власти, надеясь именно на Украину как основу для снабжения их армии продовольствием, побоялись потрясений в области сельского хозяйства и приказали оставить колхозы. На наш бедный север никто не обращал большого внимания. Коллективизация проходила у нас без таких страшных жертв, как на плодородном юге, а теперь немецкое

командование просто не обратило внимания на то, что делают крестьяне, тем более что, повторяю, у нас все время было военное, а не партийное управление.

Крестьяне были так уверены, что как только кончилась для них советская власть, кончились и колхозы, – то и другое было для них равнозначно, – что они сразу же колхозы распустили, землю поделили между собой, также и тот скот, который был, и начали самостоятельно хозяйничать. Им никто не мешал. Мой отец и я ходили в ту деревню, где мы часто проводили лето, она была лишь в 12 км от города. В ней было 40 дворов и соответственно 40 коров, так как каждый двор имел право держать только одну корову. Колхозных коров не было совсем. Но было 9 колхозных лошадей, которые кое-как выручали, когда ломалась техника, что случалось постоянно. В личном владении колхозники лошадей не имели. Сколько было овец или кур, я не помню, их разрешалось иметь в каждом дворе по несколько штук. Мы были там ранней осенью, после оккупации прошло немного времени, но все же мы остолбенели, увидев изменения. Люди были жизнерадостны, настроены по-рабочему. Один сказал мне: "Участок, который мне достался, 7 лет не удобрялся, но теперь он – мой, и я поехал в город, раздобыл удобрения и уже удобрил для озимых, так же удобрю и для яровых". В тех дворах, где коровы отелились, если теленок был телкой, то ее оставляли расти, чтобы иметь вторую корову, другие же тоже намеревались получить от своих коров телок. Больше всего нас удивило, что в каждом дворе была лошадь. Как же из 9 лошадей сделали 40?!

Впоследствии я читала в воспоминаниях Степуна "Бывшее и несбывшееся", как ловко крестьяне импровизировали после революции: реквизируют у крестьянина последнюю лошадь, а через несколько дней у него снова молодая лошадь. На вопрос, как он ее достал, тот отвечал, подмигнув: "Вчера моя кошка ожеребилась". И в этой знакомой деревне крестьяне сначала только смеялись на наши недоуменные вопросы. Но потом они объяснили. Девять лошадей распределили по жребию, и те дворы, которым досталась лошадь, внесли известную сумму в кассу общины, а потом немцы продавали крестьянам "пленных" лошадей. Тогда в армии были еще в специальных частях лошади, и они вместе с

этими частями попадали в руки немцев. Немцы продавали их русским крестьянам дешево. Вот так каждый двор смог приобрести себе лошадь. Немцы наложили сначала на крестьян небольшой продовольственный налог, но, заметив, что они с ним легко справились, они его удвоили. Но крестьяне не унывали, ничего, справимся, теперь мы хозяйева на своей земле.

Да, насколько легче было бы России, если б уродливые колхозы кончились уже тогда, если б крестьяне действительно смогли стать собственниками на своей земле. Образовались даже отряды молодых парней, которые хотели защищать свои деревни от советских партизан. Эти последние в нашей местности были редко местными партизанами, а большей частью спущенными с парашютом за линией фронта солдаты, переодетые в гражданскую одежду. Немецкое командование боялось сначала давать этим деревенским отрядам оружие, но потом дало. Вначале, когда немецкий фронт стоял крепко, они могли отражать "партизан", но потом все покатилося. Однако об этом речь будет позже.

Мы под оккупацией не голодали, но приходилось изворачиваться, одних моих заработков как переводчицы было мало. Мама в поздних годах начала рисовать и даже писать красками. У нее к этому был талант, и она нередко говорила, что если б она в молодости занялась рисованием вместо того, чтобы часами играть на рояле, ничего не достигнув, кроме любительского умения сыграть ту или иную музыкальную пьеску, то она могла бы стать художницей. Она даже решила поступить в заочную школу по разрисовке материи и посуды и закончила ее незадолго до начала войны. Теперь ей это пригодилось: она покупала на крестьянском рынке глиняные горшки, разрисовывала их и продавала тем же крестьянам, покупавшим их охотно и платившим натурой.

Но мой отец очень страдал от своего бездействия. Он привык всю свою жизнь содержать семью, и теперь ему казалось, что он раньше времени стал ненужным иждивенцем. И никак не удавалось полностью убедить его, что он так воспринимать не должен. Педвуз, конечно, не мог больше существовать, профессора и доценты были большей частью приезжие и сразу же после начала войны уехали из Пскова, студентов забрали в

армию или же они просто разошлись, да и кто бы стал содержать под оккупацией высшее учебное заведение во время войны? Начальные школы в Пскове были открыты, шли разговоры и об открытии гимназии. Немецкое командование создало даже при комендатуре отделение, которое должно было заняться организацией открытия гимназии. Конечно, мой отец готов был преподавать и в гимназии.

Вместе с г-ном Эманом (о его жене я уже упоминала) как переводчиком мой отец пошел в это отделение. Но как только они заговорили с немцами, из другой комнаты выскочил русский эмигрант (никто из нас не знал, что из Германии пригласили русского, чтобы организовывать открытие гимназии) и закричал по-русски, что мой отец и г-н Эман не должны разговаривать с немцами по этому вопросу. "Учителей для гимназии нанимаю я, – кричал он, – но сейчас еще рано". Он так и сказал "нанимаю", а не "приглашаю" и скрылся снова за дверью. Огорошенные его грубостью, два немолодых почтенных человека повернулись и пошли восвояси. Но с гимназией ничего не получилось и "наниматель" учителей вернулся в Берлин.

Однако уже весной 1942 г. из министерства Розенберга пришло разрешение в северных частях страны распустить колхозы и поделить землю между крестьянами. Как я писала, колхозы в нашей местности крестьяне распустили сразу же сами, но теперь надо было это официально закрепить. Немецкие власти стали искать русских землемеров, которые могли бы объездить деревни, размежевать землю и закрепить крестьянскую собственность на землю. Мой отец не только преподавал математику в первые годы советской власти в землемерном техникуме, но и окончил землемерные курсы в то время, на всякий случай. Он всегда понимал, что его как "несозвучного эпохе" могут отстранить от преподавания, хотя он преподавал такой нейтральный предмет, как математика, и он хотел на всякий случай иметь другую специальность. Теперь, несмотря на преклонный возраст (моему отцу было 62 года), он решил предложить свои услуги как землемер. Он получил эту работу и ездил по деревням, размежевая землю, уже разделенную крестьянами между собой. В смысле нашего питания это было большое подспорье, так как крестьяне, довольные, что они теперь законно будут владеть этими участками

земли, платили землемерам продуктами и отец привозил много вкусных вещей из деревень. Сначала землемеры опасались, что им придется быть третейскими судьями в спорах из-за земельных участков, но поразительным образом таких споров вообще не было.

Переезды из деревни в деревню на крестьянских телегах были для моего отца утомительны, но в остальном он был очень доволен своей работой. Повсюду колхозная земля была разделена крестьянами полюбовно, и землемерам приходилось только произвести разметку и занести в книгу точные размеры участков, отошедших к отдельным крестьянским дворам. Моего отца радовало согласие между крестьянами и их бодрое настроение, их стремление работать на своей земле. Летом 1942 г. настроение в деревне было еще оптимистическим, была надежда или даже уверенность, что с ненавистными колхозами покончено навсегда.

К зиме основная работа по размежеванию была закончена, но выяснилось, что оставшихся в Пскове землемеров не хватает. Сельскохозяйственная группа немецкого командования решила открыть землемерные курсы при русском земельном управлении, которое было создано, конечно, под наблюдением немецкого командования. Мой отец получил, наконец, работу по специальности: он стал преподавателем математики на землемерных курсах.

Я же взяла место переводчицы при русском земельном управлении. Студенткой на курсы поступила Люся, поскольку студенты получали стипендию и продуктовый паек, а ей хотелось уйти из бюро, где ей приходилось работать с этими неприятными русскими эмигрантами. Так как все это находилось в одном здании, Люся часто просила меня зайти на переменах на их курс, где она затевала политические разговоры. И снова мы говорили между собой совершенно свободно и громко, среди студентов были защитники советской власти и идеи коммунизма, они так же открыто высказывались, как и противники как власти, так и коммунизма.

Раз произошел такой случай: в доме, где жил один из сотрудников этого земельного управления, случился пожар, тушить и вытаскивать вещи из дома на всякий случай стали помогать и немецкие солдаты расположенной вблизи части, и тут они вытащили из-под кро-

вати ящик с патронами. Хозяина квартиры арестовали. Нужно сказать, что когда немцы вошли в город, они потребовали сдать оружие, также и охотничье, фотоаппараты и лыжи. Оружия у нас не было, а фотоаппарат и лыжи мы сдали с сожалением. Нам дали квитанцию и сказали, что после окончания войны нам все вернут. К концу войны было уже не до фотоаппарата и не до лыж... У этого землемера до войны было разрешение на охоту и соответственно охотничье ружье, которое он немцам сдал, а о патронах под кроватью забыл. Но у него сохранилась квитанция о сданном ружье, патроны рассмотрели, установили, что они для охотничьего ружья, и его выпустили. Все у нас, конечно, радовались благополучному исходу. Но затем вдруг явился человек из полевой полиции, меня попросили переводить, и то, что он сказал, всех поразило. "Мы слышали, – сказал он, – что у вас оставался налет на однажды арестованном человеке, даже если его выпустили. Так вот, у нас это не так: если мы кого-нибудь освободили, то он полностью реабилитирован. Вы не должны относиться к своему коллеге с опасением".

В тайной полевой полиции, связанной с гестапо, были тоже разные люди. Вообще, за 9 лет своего господства Гитлер, конечно, не мог создать своего стройного управления всеми отраслями. Меньше всего влиянию партии подвергалась армия, как я уже писала, а в связи с этим и в полевой полиции были еще другие люди, но были и настоящие гестаповцы, как их себе представляют, и я как раз чуть не стала жертвой такого гестаповца.

Чтобы рассказать об этом, я должна вернуться назад. Немецкие военные части давали работу многим русским, тут были и женщины, стиравшие и гладившие белье, портные и портнихи, перешивавшие формы, сапожники и другие рабочие. Мне приходилось помогать как переводчице и в контактах с крестьянами. Как я уже упоминала, на крестьян был наложен продуктовый налог, они должны были сдавать его на сдаточном пункте в городе и были довольны, если эти продукты брала военная часть, стоящая рядом с деревней, выдавая им квитанцию о сдаче налога: им тогда не надо было везти эти продукты в город.

Однажды мне пришлось сопровождать усатого немецкого вахмистра к старосте деревни. Старосты дома не было, вахмистр попросил его жену пойти с ним к какому-то

крестьянину, который чего-то не сдал, но она сказала, что пойти не может, дело было зимой, в тот год холодной и снежной, а у них с мужем одна пара валенок, сейчас он их надел, и она выйти во двор не может. Вахмистр только качал головой и повторял: "Какая нужда, какая нужда!" Затем староста пришел, но на вопрос о том крестьянине раздраженно ответил, что тот послал его к черту. Я неосторожно перевела. И вдруг вахмистр разъярился: "Как? Он оскорбил старосту, которого назначила германская армия? Значит, он оскорбил эту самую армию".

Как староста, так и я перепугались, начали его уверять, что мужик и не думал оскорблять немецкую армию, но вахмистр заявил, что надо его разыскать. Валенки, не валенки, но мужику сейчас же сообщили, и он спрятался. Мы долго ходили по деревне, вахмистр молча, я же непрерывно говорила, убеждая его, что это была просто ссора одного мужика с другим и к немецкой армии никакого отношения не имеет. В конце концов вахмистр успокоился и пошел обратно в свою часть. Но я научилась, что переводить всего нельзя, на мне лежит ответственность отсеивать необдуманные высказывания и их просто не переводить.

Кстати, часть эта помещалась в школе, построенной незадолго до войны. В первый год оккупации и начальные школы не были открыты, их открыли позже. Но это школьное здание в советское время сумели построить так, что натопить его было невозможно. Дров немцы не жалели, но помещения оставались холодными, в одном конце была накалившая печь, а в другом замерзала пролитая вода. Я спрашивала детей, как же они учились в этой школе? Они отвечали, что сидели в пальто, валенках и перчатках, а в чернильницах замерзали чернила. Всем тем, кто работал при части, – женщинам, стиравшим белье, портным, сапожникам – платили, но деньги мало что стоили. Их кормили тем же обедом, что и солдат, обычно густым супом из гороха, бобов или чечевицы с мясом, – а то, что оставалось в котле, раздавали ребятишкам, которые каждый день выстраивались в очередь с котелками, – и еще работавшим давали вечером сухой паек: хлеб, масло, колбасу, сыр, которые были помощью и семье.

В Пскове настоящего голода не было, слишком близко были деревни, как-то пере-

бывались, но некоторые подголаживали, и иные, не очень молодые, шли работать в части преимущественно ради продуктов. Между прочим, все говорили между собой свободно и о политике. Особенно жаркие споры возникали между двумя сестрами. Старшая, 22 лет, была женой командира советской армии, он был на фронте, и она не знала, где он и жив ли вообще. Младшая, 17-летняя, была горячей антикоммунисткой. Старшая говорила, что ничего не знала о существовании концлагерей, а младшая набрасывалась на нее: "Ты не знала? Все в стране знали о советских концлагерях, а ты вот не знала? Ты не хотела знать, ты спряталась за спину своего командира и делала вид, что все в порядке". И другой раз: "Ты не знала о безработице в стране? Да ведь я, твоя сестра, после окончания семилетки никак не могла найти работу. Как же ты не знала? Или после замужества ты совсем отвернулась от своей семьи и не знала, как мы бедствуем?"

Другая 17-летняя была, наоборот, совсем советская и говорила, что у них большая семья и сейчас им живется голодно. Это вполне могло быть так. И вот однажды она унесла какую-то еду, другие девушки видели, как она брала еду, и прибежали ко мне, я просила их молчать, никому ни на что не намекнуть, кража пищи – это не страшное преступление, но в военное время и еда является военным имуществом. Я тогда не знала, что за кражу военного имущества полагается расстрел, но чувствовала, что надо быть осторожными. Однако кто-то уже сболтнул. Женя попала в полицию, не тайную полевую, а обычную. Женя благополучно вернулась, и ее даже не уволили с работы, но она была очень подавлена. Потом она рассказала: немолодой полицейский съездил ей по физиономии, сказал, чтобы она больше не шлодила, и отпустил домой. "Лучше бы меня расстреляли", – сказала она, думаю, в этот момент искренне.

Мы тогда не знали, что пощечины были в Германии обычным методом воспитания собственных детей. Когда я уже жила в Германии и, окончив университет, до защиты второй диссертации преподавала русский язык в Марбургском университете, я как-то стояла на вокзале вместе с лектором польского и украинского языков, украинцем из Львова, и мы увидели, как какая-то немецкая мамаша съез-

дила по физиономии своему 7–8-летнему сыну. Мы оба невольно вздрогнули и переглянулись. Восточные “варвары” не били своих детей по лицу, считая это оскорблением личности. Тогда немолодой полицейский обошелся с Женей так же, как он бы обошелся со своей собственной дочерью, если бы она совершила небольшой проступок. Он искренне считал, что поступил по-отечески с этой глупой девочкой. Но мы этого не знали, и нам это казалось страшным оскорблением личности.

Пришел день, когда вдруг объявили, что сухого пайка давать не будут. Для многих работавших это был удар, особенно для одной уже не такой молодой женщины, видимо, с большой семьей. Она и некоторые другие заявили, что они тогда работать не будут. Всех брали на работу на добровольных началах, не было объявлено никакой рабочей повинности, но когда работавшие захотели уйти, это оказалось невозможным, было расценено как некий мятеж. Приехал представитель политической полиции, крайне неприятный, именно такой, каким можно было себе представить гестаповца, грубый, но явно не очень умный. Заводилу отказа, уже упомянутую немолодую женщину, он допрашивал особенно неприятно и вызывающе спросил: “Что же, вам хуже теперь жить, чем при советской власти?” От чего все эти слуги идеологических диктатур непременно хотят, чтобы все считали себя ими осчастливленными, даже в то время, когда идет война, еще никогда не делавшая народы особенно счастливыми? Спрошенная тоже вызывающе ответила: “Конечно, хуже”. Наученная прежним опытом, я не так перевела, а сказала что-то о трудностях военного времени. Но тут центр тяжести переместился неожиданно на меня самое: в дверь постучали, и вошел один ефрейтор, которого я встречала, но не обращала на него внимания. Он обратился к гестаповцу, игнорируя старшего офицера, капитана, который тоже находился в комнате, и сказал, что должен сделать заявление. Затем он обвинил меня, что я – советская шпионка, что я, мол, достаточно владею немецким языком и свободно передвигаюсь везде. Он был прав относительно того, что среди переводчиц было немало агентов, но относительно меня он был не прав. Глаза гестаповца перебежали с него на меня и обратно.

Капитан, прислушавшись, приказал ефрейтору выйти из помещения. Он сильнее вы-

тянулся, еще строже вытянул руки по швам, но не только не покинул помещения, но продолжал быстро и нервно говорить, гестаповец все подозрительнее смотрел на меня. Тогда капитан вдруг рявкнул страшным голосом: “Вон!” Ефрейтор согнулся и выскочил из двери. Затем капитан стал что-то тихо говорить гестаповцу. Этот офицер спас мне жизнь, так как если бы меня арестовали, то вряд ли стали особенно разбираться. Но происшествие это помогло и другим. Странно, но атмосфера точно разрядилась. Капитан сказал, что попробует выдавать снова продукты, а хотевшие уйти с работы отказались от своего намерения. Сухие пайки снова начали выдавать, хотя и в меньшем размере, чем прежде. Скоро я с этим коллективом распрощалась.

В сельскохозяйственном отделе у меня почти не было работы, и я много читала, особенно по-немецки, чтобы усовершенствоваться в языке, кроме того, мне дарили интересные книги. Так я прочла книгу Альбрехта “Der verratene Sozialismus”, название этой книги можно перевести по-русски “Социализм, который предали”, иначе получилась бы смысловая двойственность. Альбрехт был немецким коммунистом, специалистом по лесному хозяйству. В 20-х гг. он приехал в СССР и скоро сумел занять высокий пост как в Коминтерне, так и как член РККИ. Он мог в то интернациональное время занимать пост в РККИ, не меняя своего гражданства: он оставался немецким гражданином. Как специалист по лесному хозяйству, он ездил на лесоразработки и наткнулся на концлагеря. Альбрехт пришел в ужас и был уверен, что Сталин не знает о такой непродуктивной трате рабочей силы. Этот аспект его, кажется, больше волновал, чем гуманитарные соображения. Во всяком случае, он именно в этом смысле писал Сталину, он все же понял, что если на Сталина что-то может подействовать, то никак не жалость к людям, а только практические соображения. Но они не подействовали. С Альбрехтом стали происходить странные несчастные случаи, он почти что чудом спасался. Тогда его арестовали.

Шел уже 1934 год, в Германии Гитлер был у власти. Тем не менее, узнав об аресте Альбрехта, германское правительство энергично потребовало его освобождения и разрешения на выезд в Германию. В конце концов совет-

ское правительство согласилось, и Альбрехт смог уехать в Германию, но без своей русской жены и дочери. В Германии он сразу же попал в тюрьму, так как было подозрение, что он засланный агент, но его скоро отпустили, предложив, однако, покинуть Германию. Он уехал в Турцию и там написал свою книгу, ее издали в Германии. Так о советских концлагерях и тюрьмах я впервые прочла по-немецки. Речь шла, конечно, о начале 30-х годов.

Затем в Псков попали изданные в Германии же по-русски книги И.Солоневича "Россия в концлагере" и "Бегство из советского рая". Эти талантливо написанные книги повествовали о том же периоде, И.Солоневич и его сын бежали через финскую границу в начале 30-х годов. Солоневич ярко показал оба типа коммунистов: уходящих в прошлое фанатиков-идеалистов и идущих им на смену функционеров. Трудно забыть откровенный ночной разговор автора, тогда заключенного, с одним из начальников накануне отставки последнего. "У вас есть семья, сын, а я все отдал революции", – сказал этот уходящий в прошлое как тип жертвенный революционер. При этом я вовсе не хочу сказать, что фанатики-идеалисты были достойнее функционеров. Именно первые сделали революцию, без них она была бы невозможна. Тип функционера нашел бы себе место при любом строе, но в правовом государстве эти функционеры ограничены законом и в худшем случае могли бы делать мелкие пакости для собственной выгоды, так как у функционеров нет стремления исправлять мир и потому они не подвергаются искушению ради этого "переступить" через кровь (как говорил Раскольников), они далеки от глобальной криминальной энергии фанатиков-идеалистов. На расчищенном последними месте они устраивают свои дела, без жалости и снисхождения, но и без усердия и азарта. Почву им закономерно готовят идеалисты, обычно способные на жестокости, на которые часто не бывают способны даже функционеры, – они ведь не для себя их творят, а для будущего всего человечества, для высокой идеи.

Мне было 13 лет, когда я читала столь популярную среди интеллигенции книжку Войнич "Овод", и я, конечно, увлеклась героем этой книги, таким замечательным революционером. Но увлечение это было пресечено одним ударом, когда Овод в разговоре с

прелатом, своим отцом, говорит, что революционеры, убивающие людей, убивают не людей, а крыс. Как только такой идеалист какую-то часть людей, все равно – кого и все равно – по какому признаку, начинает причислять к крысам, кончается всякий идеализм и начинается кровавая каша, подготавливающая их собственную гибель. "Взявший меч от меча и погибнет". И тогда закономерен приход функционеров, уже никаким правом не ограниченных, так как "идеалисты" первые его попрали, исключив негодную им группу людей из того самого человечества, которое им хотелось спасти. Но неполное человечество уже не человечество, а монстр, тем более что исключенных, которых вначале казалось немного, становится все больше. Большинство революционеров прошло этот роковой и неизбежный путь на практике, но вот Белинский прошел его в теории, сказав, что готов уничтожить большую часть человечества, чтобы малейшая его часть стала счастливой. И мало кто из последующих революционеров не задумывался об этой жуткой фразе. Им надо было начать уничтожать на практике...

Кто-то из немцев подарил мне "Mein Kampf". Мне было, конечно, интересно познакомиться с этой книгой. К моему удивлению, чтение ее с чисто языковой стороны продвигалось не без труда. Альбрехта я читала совершенно свободно, да и раньше уже свободно читала немецкую классику, и тем не менее... Но те же немцы мне потом объяснили, не "тем не менее", а именно поэтому: воспитанная на классике, я не так легко понимала корявый язык Гитлера. Но прежде чем попробовать читать подряд, я наугад открыла книгу и сразу же попала на то самое место, главу "Ostorientierung oder Ostpolitik" ("Восточная ориентация или восточная политика").

Под "восточной политикой" он подразумевает политику Бисмарка, стремившегося к сотрудничеству и даже дружбе с Россией. Правда, Бисмарк искал дружбы монархической Германии с монархической Россией, – и как хорошо было бы, если бы преемники Бисмарка не переменили круто линию германской политики! Гитлер же, равно как и в наше время западные политики и журналисты, не делал разницы между коммунистической или какой-либо другой Россией и спрашивал, следует ли искать сотрудничества с Россией как таковой или же выбрать "восточную ориента-

цию“, под этим наименованием Гитлер понимает желание колонизировать Россию. Конечно, он отвергает первую возможность и высказывается за вторую. Гитлер считает, что русские неспособны сами построить или сохранить государство. Построили его им норманны (варяги), сохраняли потом немцы. После октябрьской революции место немцев заняли евреи. Но, по мнению Гитлера, евреи – деструктивная нация, они не могут не только созидать, но и долгое время удерживать государство (Ветхого завета Гитлер, видимо, не читал). И дальше идет фраза, которую я даже себе выписала: “Das Riesenreich im Osten ist reif zum Zusammenbruch. Und das Ende der Judenherrschaft in Russland wird auch das Ende Russlands als Staat sein“ (“Огромная империя на Востоке созрела для крушения, и конец господства евреев в России будет также концом России как государства”).

Эта глава меня глубоко возмутила: так, значит, отсутствие временного русского правительства, отсутствие желания сотрудничать с русскими антикоммунистами – это не только непонимание, незнание, ошибка, это совершенно сознательные планы, планы превратить Россию в колонию германской империи, – планы, которые строил Гитлер 20 лет тому назад! Произошло ли что-либо с этого времени в уме самого автора и его окружения? Эти стрски писал заключенный в крепости Ландсберг после неудавшегося вооруженного путча. С того времени прошли два десятилетия легальной борьбы за власть и затем нелегального преобразования легально достигнутой власти в диктатуру. Изменились ли изложенные в этой

главе планы и взгляды на Россию за эти десятилетия? Актуальная германская политика указывала на то, что убеждения и планы Гитлера в отношении России не изменились. Но я была совершенно уверена в том, что Россия как государство не погибнет и что либо германское руководство это поймет и заключит союз с русскими антикоммунистами, либо война Германии будет проиграна. Много времени было уже упущено, теперь оставалось уже не так долго ждать решения.

В 1968 г. А.Амальрик в своей брошюре “Доживет ли СССР до 1984 года?” повторил концепцию Гитлера относительно России, изменив в ней только характеристику евреев. Амальрик считает, что евреи не только не деструктивная нация, но, наоборот, весьма конструктивная, но теперь они начали покидать СССР, и после их отъезда СССР развалится, да и Россия погибнет. Амальрик, правда, связывал распад СССР с тем, что в середине 70-х гг. разразится война между СССР и красным Китаем. Война не разразилась, но СССР распался. А как будет с Российской Федерацией? На Западе есть немало политиков, которые хотели бы и ее развала и, возможно, того, чтобы план Гитлера был доведен до конца и Российское государство перестало бы существовать. Не этому ли должно служить расширение НАТО на Восток? В то время как Варшавский пакт распался, НАТО укрепляется дальше и должно покрыть все пространство от берегов Тихого океана до границ Белоруссии и Украины. Но Российская Федерация не развалится и Российское государство не погибнет. Теперь это так же верно, как и 52 года назад.

Н.С.Кравец

ЭПИЗОДЫ И СУДЬБЫ

(Продолжение)

Следователь Михаил Федорович

Рыжеватый блондин с выющимися волосами, выше среднего роста, неплохо сложенный, лет тридцати пяти. Не то чтобы привлекательный, но и не отталкивающий; не то чтобы любезный, но никогда не хамящий. Порой – в пределах дозволенного – внимательный и в основном формально исполняющий свои обязанности следователя подполковник Кулыгин не вызывал во мне враждебности. Было у меня, конечно, некое чувство превосходства. Как-то в ответ на его нравоучения я со скрытой иронией посетова-

ла, что он не встретился мне раньше – он мог бы своевременно меня вразумить. На это последовало его соображение, что в то время я вряд ли пригласила бы его в свой дом. Мгновенно прикинув такую странную ситуацию, я ему спокойно сообщила, что да, пожалуй, не пригласила бы. Это было вполне серьезно, и он вроде бы не обиделся...

А вот такой момент: жаркая, душная летняя ночь. Допрос. Окно кабинета открыто. Из близлежащего кабинета доносится целая обойма нецензурной ругани.

Кулыгин кидается к окну, захлопывает его, бросает возмущенную реплику:

– Черт возьми, до чего вахтеры распустились!

Да уж, вахтеры... Я смолчала. После паузы:

– Разрешите снять китель – очень жарко?

Какая куртуазность...

– Да пожалуйста, снимайте что угодно!

Часто бывал на допросах в хороших заграничных костюмах, при аккуратно повязанном галстуке. Как-то задел модную в то время тему о “низкопоклонстве перед заграницей”. Ну, я тут же мягко обратила внимание на его костюм, на его чешские туфли.

Говорил он “коммунизм” и “социализм”. Поправила его произношение столь родных для него понятий. Удивился. Предлагаю ему написать это слово с мягким знаком: “Прочтите вслух”. Конечно, прочитал, как привык. Ну, безнадежно... Сообщил как-то, что по профессии он инженер-химик. Понятно, из тех инженеров, что носят портфели и сидят в партере.

Допрашивал он меня всегда только ночью; сразу же после вожделенного “отбоя” в тюремной камере появлялся надзиратель и уводил в главное здание, а часам к двум-трем отводил обратно в камеру, где можно было досыпать оставшиеся до подъема пару часов.

Однажды допрос затянулся, уже светало и просто донельзя хотелось “домой”. Я взмолилась:

– Отпустите меня, устала, сил нет, да и завтрак сейчас в камеру принесут!

– Нет, придется еще задержаться.

Кулыгин звонит и распоряжается, чтобы доставили чай, открывает шкафчик, достает завернутый в пергаментную бумагу пакетик, разворачивает его передо мной. Бутерброды: белый батон, сыр, ветчина. Аромат вызывает головокружение и слюнотечение. Приносят чай.

– Ешьте, пожалуйста, это из дома, жена приготовила.

От чая героически отказываюсь, от соблазнительной еды – тоже. Через пару часов возвращаюсь в камеру, уплетаю оставленную для меня моими сокамерницами кашу. Рассказываю об отвергнутых мною бутербродах. Реакция аудитории однозначна: “Дуреха, надо было сожрать!”

Много-много лет спустя я напомнила ему об этих бутербродах. Но об этом чуть погодя.

В общем-то ночные бдения были до тошноты однообразными. Нередко он вызывал младшего по званию офицера и оставлял его караулить меня, а сам исчезал на несколько часов; потом являлся конвоир и отводил меня в камеру. Очевидно, таким образом ему “шли часы” работы. Ну, в эти часы я складывала фигурки из спичек, курила и изучала висевшую на стене у меня за спиной карту западного полушария. По близорукости видела в основном Антарктиду и южную часть Южной Америки. В те ночи я назубок выучила названия всех столиц южноамериканских государств и многое другое, что там можно было разглядеть; до сих пор помню романтические названия в Антарктиде – Земля королевы Мод, Земля принцессы Ранхильды, Земля крон-принцессы Марты... почему-то две последние я на карте в нашей БСЭ не обнаружила, но точно помню, что на той карте они были.

Изредка имели место и “просветительские” допросы. Просвещала я. Таковой была мини-лекция о Рихарде Вагнере, и это было интересно – по крайней мере, для меня, выступавшей в качестве вагнеровского адвоката: дело в том, что мой Кулыгин пытался навязать мне (!) приверженность к фашистской идеологии – в связи с моим пиететом перед композитором. Попутно меня вдруг осенило, что идея “Кольца Нибелунгов” была, в сущности, сродни марксову “Капиталу” (власть золота, власть денег).

После так называемого “чтения дела” я была наивно уверена, что меня просто-напросто освободят, так как не усмотрела во всей этой ахинее состава преступления.

Да, я была наивна. Безликое, анонимное Особое Совещание приговорило меня к десяти годам особо строгих лагерей.

Впоследствии, в лагере, одна интеллигентная запуганная дама рассказала мне, каким матерщинником и извергом был ее следователь. Выяснилось, что мы в один и тот же период сидели в смежных камерах на Лубянке. Фамилия ее следователя была Кулыгин.

Теперь-то мы знаем, что то была система психологического воздействия на подсудимых: на кого-то действовала грубость, на кого-то – “культурное обхождение”. На меня это обхождение, правда, не действова-

ло*. Но, по крайней мере, конкретным оскорблениям я не подвергалась, за что – спасибо.

Спустя годы, в период “оттепели”, мой муж, фронтовик Николай Николаевич, несколько раз пытался подвигнуть меня на встречу со следователем; мужу было любопытно посмотреть на “порядочного чекиста” в новой ситуации и разобраться в том, с кем же он все-таки был более самим собой: со мной или с моей упомянутой выше собеседницей. Но мне тогда этого не хотелось. Правда, два раза я сталкивалась с этим человеком на улице. Лицо его было перекошено, – вероятно, перенес инсульт, и такое “изменение милого лица” называется парезом. Но я не уверена, что это был на самом деле он: разминувшись, мы оба даже не замедлили шаг.

Больше я Кулыгина не видела. Но тут наступила новая фаза. Мужа уже не было в живых. В обществе начались перемены. Мне вдруг захотелось увидеть в лицо свое прошлое. В 89-м году, оказавшись возле уличного справочного бюро и располагая временем, я поинтересовалась адресом Михаила Федоровича Кулыгина. Кое-какие данные для получения справки я вычислила, и не ошиблась. Да, жил он там же, напротив моего прежнего дома (он мне это говорил на следствии), и вот его адрес. Придя домой, я по телефонному справочнику узнала номер телефона и сразу же позвонила. Отозвался старческий мужской голос...

– Да, это я, – ответил он на мою вежливую просьбу позвать Михаила Федоровича. Начался своеобразный разговор, почти монолог.

– Давненько мы с Вами не виделись, Михаил Федорович, ровно сорок лет, и Вы меня, наверно, и не помните. Я – такая-то...

– Нет, я хорошо Вас помню...

Голос показался мне испуганным. Спокойно и добродушно я старалась внушить ему, что зла на него не держу и напротив, как ни парадоксально, хочу сказать ему спасибо за то, как уважительно он вел себя тогда со мной, хотя мы нынче узнаем из бесчисленных публикаций, какими бывали в те времена его коллеги.

*Прекрасно воздействовало. Одно только совершенно добровольное, полученное без всяких “незаконных методов”, сравнение “гениального труда великого основоположника бессмертного учения” с произведением “фашистского” (пусть “предфашистского”) композитора в те времена вполне тянуло на “червонец”. А мата хватило потом – в лагерях. Стоит ли за это благодарить? – *Прим. ред.*

Он молчит, затаился. Я продолжаю, напоминая ему о каких-то моментах. Вяло удивляется моей хорошей памяти. Интересуюсь, как его здоровье. Неважно, говорит, только что вышел из больницы после операции. Постельный режим. На пенсию вышел недавно. А еще в прошлом году играл в теннис. Последние двадцать лет работал в НИИ.

– Вы ведь химик? – спрашиваю я.

– Ну и память!.. – говорит он.

– Ну, я рада, что вы с прежней работой развязались. Хотелось бы повидать вас, но отложим до осени. Поедете на дачу, поправитесь.

– Да нет у меня никакой дачи.

– Вот так так! При вашем-то звании? Ну, ладно. Пригласите меня осенью к себе на чашку чая? Вот теперь я бы не отказалась от домашних бутербродов...

В общем, мне не удалось его разговорить. И это, наверное, можно понять. В конце концов он на девять лет меня старше (это выяснилось в разговоре), к тому же больной старик. Попрощались с ним на том, что осенью позволю, а ему желаю поправиться. Он меня еще спросил, играю ли я по-прежнему на скрипке. Нет, говорю, годы уже не те. Но работаю по своей второй специальности, занимаюсь переводами и время от времени кое-что пишу для печати. Кстати, хотелось бы повидаться, чтобы потом поведать о нем. Попрощались. Приглашения не последовало.

Осенью того же года я работала в Вене, в студии документальных фильмов со знаменитой Мариной Голдовской. Монтировался фильм по сценарию известной писательницы Светланы Алексиевич. В свободное время я им эту историю рассказала. Обе, воодушевившись сюжетом, задумали проникнуть с моей помощью к этому реликту недавнего прошлого, познакомиться с ним, поснимать, проинтервьюировать. Я немного охладила их пыл: персонаж не очень-то интересный – “коммунизм”...

Вся эта тема как-то от меня отвалилась. Но позже, примерно через год, я снова позвонила туда – “под настроение”. Женский голос сообщил мне, что Михаил Федорович умер. Как ни странно, я в этот момент ощутила нечто, подобное чувству утраты... Право же, человек создан удивительно. Неужели это была ностальгия? По чему? По своей молодости? По пережитому? Не умею анализировать себя. Но это было именно так.

К чему я все это рассказала? Наверное, чтобы нанести еще один мазок на сюрреалистическую картину прошлого...

В Москве и Санкт-Петербурге в издательствах “Прогресс-Литера” и “Алегея” вышли воспоминания Ф.Ф.Степуна “Бывшее и несбывшееся” с моим послесловием. Это послесловие мы предлагаем вниманию читателя и советуем ему прочесть всю книгу.

В. Пирожкова

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕМ УЧИТЕЛЕ

Зима 1946/47 года была суровой и длинной. Таких продолжительных морозов, доходивших до минус 20°, я во все последующие десятилетия в Мюнхене не припомню, хотя кратковременно бывали даже более суровые морозы. В эту вторую послевоенную зиму в Германии катастрофически не хватало топлива, а во многих квартирах и печей. Так, в меблированной комнатке, которую мне чудом удалось получить, вместо настоящей печки стояла «буржуйка», дававшая тепло только короткое время, а потом остывавшая. В общем, в комнате была константная температура в 0°. Голодать в полном смысле этого слова не приходилось, так как в Баварии можно было получить картошку без карточек; картофельное питание варьировалось с овсянкой и желтой маисовой кашей; крупы привозили американцы. Жиров давали по карточкам – 50 граммов в месяц на человека. Вероятно, эта пища была здоровой, но уж очень однообразной.

Мюнхен лежал в руинах. И хотя он не был так сильно разгромлен бомбежками, как, скажем, Берлин или Кассель, однако руин было много. В здании университета вместо auditorium maximum и актового зала зияли дыры, обранные кучей камней. Летом 1947 года при хорошей погоде там устраивались концерты симфонической музыки, и когда к звездному небуплыли звуки Баха или Бетховена, которыми слушатели наслаждались, сидя на выступлениях образовавшихся от развалин камней, приходили мысли о приоритете человеческого духа над материей.

В сохранившихся аудиториях лекции должны были читаться с утра и до вечера – приходилось “уплотняться”. Вместе с тем оставшихся аудиторий хватало, так как перед зимним семестром – в Германии он начинается 1 ноября – американское военное командование поразогнало профессоров истории, причем некоторых по вздорным причинам. Так, например, самому крупному знатоку древней истории Гельмуту Берве ставилось в вину его утверждение в книге о Древней Греции о том, что древние греки и древние

персы были одной расы. Это было расценено как расизм. Между тем в те годы на Юге США еще бывали случаи линчевания негров за женитьбу на белой женщине.

Так мы, начинавшие учиться на философском факультете, в программу которого входили и история, и филология, столкнулись не только с материальными, но и с духовными развалинами Мюнхенского университета. Я тогда еще намеревалась заниматься преимущественно историей, но слушать было почти некого. Чтобы хоть как-нибудь заполнить возникшие перед самым началом семестра провалы, пригласили читать 80-летнего профессора Геца, уже много лет тому назад ушедшего в отставку. Он делал беглый обзор по всемирной истории. Уделив немало внимания древним культурам не только Египта, Греции и Рима, но также Индии и Китая, он перешел к истории Западной Европы. Россию он опустил и только в одной из последних лекций объяснил это тем, что, по его мнению, Россия – варварская страна, всегда такой была, есть и будет. Видимо, такое отношение к России расизмом тогда не считалось.

Позже мы получили настоящих профессоров истории, в частности крупнейшего специалиста по новой истории Франца Шнабеля, знавшего историю России и относившегося к ней объективно. Шнабель жалел только, что не владеет русским языком.

Но в первые семестры в университете было пусто. Поэтому я заинтересовалась, прочитав в расписании лекций имя русского профессора Федора Степуна, читавшего Russische Geistesgeschichte (историю русской духовной культуры). Послушать Степуна собралось несколько сот студентов. Тогда еще не иссяк интерес к дореволюционной России, бывший в Германии до Гитлера довольно интенсивным. Немецкая молодежь в те годы находилась в глубоком духовном кризисе. Тоталитарная идеология национал-социализма, война, кончившаяся крахом, разбили иллюзии, если они у кого-либо и были, и оставили молодежь без почвы под ногами. Старые традиции были подорваны или даже совсем раз-

рушены, новые еще только нащупывались. Ответов искали везде, в том числе и в духовности прежней России. Впоследствии Степун за многие годы деятельности в Мюнхене сделал себе имя, но в ноябре 1946 года его имя здесь вряд ли было широко известно. Прежде он читал лекции в Дрездене, где ему в 1937 году национал-социалисты запретили профессорскую деятельность как *judenfreundlich* (относящемуся дружелюбно к евреям).

...Быстрыми легкими шагами в аудиторию вошел высокий, статный, немного полноватый человек с крупными чертами лица, высоким лбом и развевавшимися, довольно длинными (тогда не по моде), совершенно белыми волосами. Степуну тогда было 62 года.

Говорил он свободно, не считывая с листа, как делали многие немецкие профессора, на прекрасном немецком языке, слегка картавя. Только потом я с удивлением узнала, что дома он пишет всю лекцию дословно и заучивает ее. «Конечно, я могу говорить без всякой записи, хоть несколько часов подряд, – сказал он мне как-то потом, – но тема должна быть точно разработана».

В этом первом семестре Степун читал о славянофилах и западниках. Но от этого семестра у меня осталось мало впечатления, по существу он для всех нас пропал: очень скоро в аудитории стало невыносимо холодно, и университет был закрыт. Настоящие занятия начались лишь в летний семестр 1947 года, а к зимнему семестру 1947/48 года кое-как было налажено отопление больших аудиторий, а в малые поставили «буржуйки», с трубами, выходящими в окно.

Если на лекции к Степуну приходило несколько сот студентов, а бывали и люди извне, даже весьма немолодые, то на семинарских занятиях присутствовало всего 10–20 студентов. Это были те, которые серьезно собирались заниматься Россией. Для серьезных семинарских занятий – подготовки к докладам и семинарским работам по предмету, который читал Степун, – важно было знание русского языка, однако лишь немногие студенты им владели. Может быть, поэтому, а может, и вполне осознанно Степун на семинарах избегал узкой специализации. Некоторые его коллеги ставили ему это в упрек, но крупные личности среди немецких профессоров Степуна очень ценили.

Он поощрял дискуссии, любил возраже-

ния, дававшие ему возможность углубить данный вопрос. Его семинары не только развивали остроту мышления, но и требовали постоянного пополнения знаний. В дискуссии включались то те, то эти мыслители, появлялась необходимость прочесть то, что еще не было прочитано, или восстановить в памяти забытое. Конечно, обсуждались не только русские мыслители. Вспоминается такой курьезный случай. Как-то Степун вошел в аудиторию с книгой в руках, открыл ее и стал читать. Это был немецкий автор. Он спросил, откуда цитата. Я, обычно принимавшая горячее участие в дискуссиях, на этот раз сидела молча, предоставляя возможность ответить немецким студентам. Но никто не знал. Тогда я, к смущению немецких студентов и удовольствию Степуна, сказала: «Гельдерлин, «Гиперион»». Однако большой моей заслуги в этом не было: я как раз недавно, знакомясь с немецкими мыслителями и немецкой литературой, прочла это произведение, а немецкие студенты читали Гельдерлина, вероятно, еще в гимназии, а между ее окончанием и университетом у многих пролегли 6 лет фронта. В те годы в университет никого не принимали сразу после гимназии: сначала давали возможность пройти старшим поколениям.

Курс о славянофилах и западниках Степун повторял два раза. Вообще говоря, курс тогда разрешалось повторять через каждые два года для вновь поступивших студентов, но повторить курсы первого зимнего семестра пришлось всем и сразу. Степун читал этот курс, очерчивая две основные линии русского духовного развития. Он останавливался только на типичных представителях обоих течений: А.Хомякове, И.Киреевском и Константине Аксакове у славянофилов; В.Белинском, А.Герцене и М.Бакунине у западников. Религиозная линия рассматривалась им только в ракурсе славянофилов, одновременно почвенников, и в их поздних проявлениях, которых Степун, однако, не касался, – националистов с налетом панславизма. Впрочем, такого резкого разделения по времени провести нельзя: у идеологического публициста Хомякова просвечивает уже панславизм, которого совсем нет у его современника И.Киреевского. Этим последним мы занимались больше всего, поскольку упор ставился на экзистенциальный характер русского мышления, а он особенно разработан у Киреевского. На семи-

нарах мы всесторонне анализировали понятие Киреевского “целостность” и понятие Новалиса “единство”. Внутренняя связь – хотя во многом и различие – славянофилов с современными или отчасти предшествовавшими им немецкими романтиками бросается в глаза. Степуна эта тема глубоко занимала. Ей посвящена и значительная часть его книги “Bolschewismus und die christliche Existenz” (“Большевизм и христианское существование”. München, 1956).

В каком-то смысле экзистенциалистами как в своем мышлении, так и в восприятии жизни были, конечно, и западники. Не случайно в экстремальном продолжении их линии появился большевизм, принявший всерьез слова Маркса об единстве теории и практики и соответственно создавший ад не на бумаге, а на практике. На кафедрах западных университетов тот же Маркс был относительно безвреден.

Эта экзистенциальность русского мышления привела молодого Степуна, приехавшего из Москвы в Гейдельберг изучать философию, к слишком горячим для немецких семинаров спорам с его тогдашним учителем профессором Виндельбандом, читавшим философию детерминизма, – как Степун сам пишет в своих воспоминаниях. Об этом споре Степун рассказывал нам не один раз и на лекциях, и на семинарах. В моей памяти он запечатлелся немного в ином варианте, чем описан в “Бывшем и несбывшемся”, но смысл его тот же – Виндельбанд разложил все по полочкам отдельных дисциплин. В философии он проповедовал полный детерминизм, а можно ли наказывать преступника, если его действия были полностью детерминированы и от него как бы не зависели – “это не дело философии, а дело юриспруденции”, – последовал ответ. Проблема же греха – это дело богословия. А на вопрос, есть ли у него на этот счет свое мнение, Виндельбанд говорил, что дать ответ он может только дома, а не с кафедры.

Такое расщепление формальной философии, теоретической философской системы и практического воздействия ее выводов было чуждо русскому. Конечно, на практике строгое разделение между университетской кафедрой и государственной и общественной практикой часто дает в жизни неплохие результаты. Что было бы, если бы каждый увлекшийся той или иной теорией, бросался очертя голову претворять ее в жизнь? Между

тем это разделение приводит и к тому, что многие немецкие мыслители успокаивались на той или иной системе спекулятивной философии, тогда как русские, преодолев искушения ложных идеологий, продолжали искать дальше, доходя до света христианства. Ряд русских марксистов в молодости – Струве, Булгаков, Бердяев – отошли от марксизма под влиянием немецких неокантианцев, но ни один из них на них не остановился. Даже честная и глубокая попытка Рудольфа Штаммлера в рамках кантианской философии восполнить дополнительной телеологической линией разрыв между эмпирией и трансцендентностью не могла их удовлетворить. Все они кончили христианством.

Степун марксизмом не увлекался и был христианином, возможно, уже в молодые годы – точно я этого не знаю. Когда он читал в Мюнхенском университете, он не скрывал своей веры и своих христианских убеждений: он, следуя русской традиции, не считал, что с кафедры о своих убеждениях не говорят. При этом следует сказать, что в его жилах не текло ни одной капли русской крови. Тем не менее я не встречала в своей жизни другого такого типично русского москвича, как Степун. Меня же друзья, смеясь, называли полуваряжкой, и мы не раз шутили об этих «обратных фронтах», так как, насколько я знаю, все мои предки по отцу и по матери были чисто русскими. Степун вырос в лютеранстве, потом перешел в православие. Однако он был вполне толерантен к другим христианским вероисповеданиям.

Тогда я еще мало что знала о христианстве, и, хотя не сомневалась в существовании Высшего Существа, представление о нем у меня было довольно туманное. Как-то в ходе одной из дискуссий на семинаре я сказала, что, поскольку все развивается, может быть, пришло время для возникновения новой религии, которая сменит христианство. Полушутя Степун возразил: “Если б я был священником, я бы сказал: Боже, будь ей милостив”, – и, став серьезным, добавил: “Как философ, я скажу, что глубже и выше христианства ничего быть не может”.

Этот истинный ответ тогда мне лично ничего не дал. Сущность христианства мне раскрыл другой мой учитель – Романо Гуардини. И только после этого я сумела оценить истинность тогдашнего ответа Степуна.

Очерчивая две основные линии русского

мышления – религиозное, почвенное, национальное, с одной стороны, и атеистическое, социалистическое, связанное именно с этими западными тенденциями, – с другой, Степун оставлял для немецких слушателей нераскрытыми многие важные побочные линии русского мышления. Так, он совсем не затрагивал верующего западничества с такими крупными мыслителями, как П.Я.Чаадаев и В.С.Печорин. И совсем нерассмотренной осталась яркая и неповторимая личность Константина Леонтьева. О нем у Степуна было, по моему убеждению, чрезвычайно искаженное представление. (Но об этом позже.) Не коснулся он и отчаянных попыток, предпринятых А.К.Толстым, по синтезу лучшего из православия и почвенничества, а также из западных традиций в ностальгическом возвращении к Киевской Руси.

Свою докторскую диссертацию в Гейдельберге Степун посвятил Владимиру Соловьеву. Естественно, он включил его в читавшиеся им курсы. Но как ни странно, в мое время он не посвятил этому чрезвычайно важному мыслителю ни одного специального курса. Он читал в одном семестре и о Вл.Соловьеве и о Льве Толстом. В краткой биографии Вл.Соловьева Степун нарисовал образ мистика, изобразив его так же и в своей книге «*Mystische Schau*» (München, 1964), он совсем не затронул философские и богословские проблемы, которым Соловьев посвятил так много трудов. Возможно, это произошло и оттого, что ему не удалось вместить этот курс в рамки отведенных часов. Помню, как жаль мне было, что этот курс оборвался и Степун не попробовал его повторить. Не затронул он и так мучившей великого философа проблемы национального и даже националистического христианства и кафедры апостола Петра. В рамках биографии Степун указал на то, что Вл.Соловьев за четыре года до своей смерти тайно присоединился к Вселенской – как он это понимал, – то есть католической Церкви. Но Степун не раз повторял, что философ после первого причастия больше не причащался, а перед смертью его посетил православный священник. Это непонятное для Степуна явление проявилось уже после его смерти, когда на Запад попала рукопись племянника Вл.Соловьева о.Сергея Соловьева, священника восточного обряда католической Церкви, погибшего в советских концлагерях. О. Сергей Соловьев готовил книгу о своем знаменитом дяде к 25-летию со

дня его смерти, наивно полагая, что в период нэпа эту книгу можно будет издать. Увидела свет книга только через полвека на Западе*. О. Сергей рассказывает в ней, что о. Толстой, католический священник восточного обряда, принявший Соловьева в лоно Церкви, должен был сразу же бежать за границу, так как до 1905 года переход из православия в другие вероисповедания карался ссылкой в Сибирь. Других католических священников восточного обряда в России не было, а в рамках западного обряда философ причащаться не хотел. Он ведь очень ратовал за сохранение восточного обряда. Но этой книги Федору Августовичу уже не удалось прочесть, она вышла в свет через 12 лет после его кончины.

В моих воспоминаниях об этом курсе ярче запечатлелся образ Толстого, чем образ Вл. Соловьева. При сравнении Толстого и Соловьева главным, конечно, был спор о непротивлении злу насилием. Помню восклицание Степуна: «Толстой проделал огромную работу, изучил древнееврейский язык, освежил в памяти греческий, чтобы прочесть Ветхий и Новый заветы в оригинале, и вычитал только то самое, что он и до этого чтения усматривал в Библии, то есть то, что он сам в нее вложил». Яркость образа Льва Толстого в лекциях Степуна объясняется, вероятно, тем, что Степун сам был не в меньшей, а возможно, и в большей степени художником, чем философом. Вернее, профессором философии, как определял он сам: «Если человеком владела одна-единственная идея, он становился философом, если же человеком владеют разные идеи, он становится профессором философии». Подобные афоризмы оживляли занятия и тоже свидетельствовали о художественной натуре Степуна.

Лекции Степуна всегда оставались в рамках дореволюционной русской мысли. Если Степун, подробно останавливаясь на Бакуине и подчеркивая его сатанизм (по словам Бакунина, сатана является прообразом революционера, так как он знает, что Бог есть, и все же против Него борется), давал хотя бы краткий очерк русских корней Ленина – Бакунина, Ткачева и Нечаева, – то о самом Ленине он не читал. Не читал он и курса по теории марксизма-ленинизма. О Ленине он лишь иногда упоминал как о своем современнике.

* Соловьев С.М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977.

Так он рассказывал, что слышал его знаменитую речь с броневика, когда Ленин вернулся в Петроград. На первый взгляд, Ленин не обладал талантом оратора. Говорил монотонно, в одном ритме, подчеркивая свои слова взмахами вытянутой руки, как ударами топора. Однако, к своему собственному удивлению, Степун вдруг заметил, что ритм этот вкладывается в мозг слушателей, они начинают втягиваться в него, следовать ему вплоть до иступления. Это несколько напоминает действие современной рок-музыки, тоже состоящей из ритма без всякой мелодии.

Не читал Степун и о мыслителях, которых знал близко, с которыми вместе был выслан из Советской России и которые уже до революции духовно преодолели марксизм. Я имею в виду Франка, Булгакова, Вышеславцева, Лосского, Бердяева. Возможно, и у него еще не было временного расстояния для объективации их мышления хотя бы в рамках субъективного восприятия. Степун не раз говорил и писал, что социолог в противоположность естествоиспытателю не может полностью абстрагировать предмет изучения от своего "я". В изучаемый объект всегда включается и изучающий субъект. Теперь мы знаем, что и естествоиспытатель не может полностью абстрагировать свой субъект от изучаемого объекта: сам процесс изучения уже меняет рассматриваемый объект.

В те первые послевоенные годы казалось, что в Германии марксизм уже не может возродиться как интеллектуальное искушение. Тогдашняя молодежь пережила на себе искушение национального социализма (национал-социализм) и видела жалкие результаты господства в течение четверти века интернационального социализма. Война, близость собственной смерти, смерть друзей и членов собственных семей в тылу вызвали, как это бывает везде, потребность в духовном осмыслении. Решений назревших вопросов, выхода из внутреннего кризиса искали не в теориях материализма, а в духовных аспектах, и многие – в христианстве. Если на лекции Степуна приходило до 300 студентов, то несколько позже на лекции Романо Гуардини, когда он перешел в Мюнхен из Тюбнгена и когда отстроили "аудиторию максимум", приходило до 1000 студентов, мест не хватало, сидели на ступеньках, стояли в проходах. Романо Гуардини читал христианское мировоззрение.

Мы жестоко ошибались, думая тогда, что марксизм в Германию не может вернуться. Когда в конце 60-х годов возникли бурные марксистские течения среди студенчества – образовались красные ячейки и группы спартакистов, а также марксистские объединения, – большинство немецких профессоров философии оказались духовно безоружными. Они не изучали ни марксизма, считая его бессодержательным в философском смысле, ни духовно преодолевших его русских мыслителей, живших долгие годы на Западе, но, к сожалению, не вызвавших там к себе достаточно большого интереса. Жаль, что Степун не читал систематически о них лекции. Возможно, некоторые его слушатели смогли бы перенять их наследство как духовный ответ на неожиданно возродившийся, зачастую довольно примитивный марксизм известной части студенчества.

Как я уже отмечала, семинары Степуна бурлили дискуссиями и спорами. Я изменила свое первоначальное намерение изучать историю как главный предмет и осталась у Степуна на кафедре философии. Полушутя, полусерьезно я говорила, что осталась у него потому, что с ним можно хорошо спорить. И мы много спорили. Конечно, у меня зачастую были еще незрелые мысли, на которые у Степуна были исчерпывающие ответы; иногда же я позволяла себе сознательные интеллектуальные провокации, которые Степун прекрасно понимал и ценил и которые давали ему возможность блеснуть своим ответом.

Но два спора, расколовших даже участников семинара на сторонников Степуна и моих, особенно запомнились мне; я тогда была уже на старшем курсе. Один из споров носил определенно экзистенциальный, а не только интеллектуальный характер. И именно поэтому невозможно было уступить или хотя бы пойти на компромисс. Степун не раз рассказывал – есть у него это и в воспоминаниях, – как он, интересуясь существовавшими между Февралем и Октябрем 1917 года партиями, заходил в их штаб-квартиры. Зашел он и к большевикам. Казалось, в полном синего табачного дыма помещении большевиков была не маленькая группка людей, а сотни и тысячи, невидимо стоявшие за их спинами. Так он это почувствовал тогда.

Степун, склонный к мистике, не сомневался, что за спиной большевизма стоит Дьявол.

Дьявол этот представлялся ему хаотичным, огнедышащим, подвижным и даже творческим, если под этим подразумевать слова Бакунина: “Разрушение – это тоже творческая страсть”. В книге “Бывшее и несбывшееся” Степун пишет, что в Ленине было много от негативной мистики разрушения Бакунина, иначе он не увлек бы за собой стольких людей.

Степун *пережил* это так, и это навсегда запечатлелось в его уме и душе. Я же попала в Германию из страшного, совершенно мертвого сталинского царства. Я не могла представить себе ни огненность, ни “творческую страсть” к разрушению, пусть страшную, но все же страсть. Я вышла из могильного оцепенения 30-х годов. О них Пастернак в “Докторе Живаго” пишет как о “колдовской власти мертвой буквы”, настолько страшной, что даже война с ее реальными ужасами показалась освобождением. Но тогда я не могла опереться на Пастернака, однако ощущала именно то, что Пастернак характеризует “колдовской властью мертвой буквы”. Не умея так сформулировать, я говорила: пусть будет сатана, но сущность сатаны именно в том, что ой мертв, что он холоден, что его дыхание замораживает все окружающее. Я ссылалась на Данте и его сатану, находящегося не в огне ада, а во льду, и цитировала Лермонтова об истинном лице Демона: “И веяло могильным холодом от неподвижного лица”. Тогда я первый и последний раз видела, как Степун вспылил. “Какое мне дело до поэтов!” – воскликнул он. Отчего бы нам было не заключить компромисс на том, что в известный период искупления Дьявол может прикинуться горячим, разрушительно-творческим, полным движения, хотя движение это и мнимое. Но захватив в свои руки власть, он раскрывает свою истинную, мертвенную, застывшую натуру. Такое решение вопроса было бы, вероятно, правильным и должно было бы прийти в голову несравненно более опытному Степуну. Но он его не предложил. Не было ли это его упорство внутренней самозащитой, самооправданием? Большевизмом Степун никогда не увлекался, но какой-то частью своего “я” он крепко находился в узах либерально-революционного духа. Он участвовал в февральском междуцарствии и даже защищал Советы и их роль.

Этого периода его жизни я так и не смогла понять. Помню разговор, состоявшийся у него на квартире. В то время в Мюнхен приезжал

Керенский. Он выступал, и многие стремились его послушать и даже пожать ему руку. Я не пошла даже из любопытства. Слишком большую горечь испытывала я при встрече с теми, кто проиграл Россию большевикам. Тогда, у Степуна, я сказала ему: “Если бы я встретила Керенского, я дала бы ему пощечину”. К моему ужасу, признаюсь, Степун ответил: “Можете начинать с меня, я стоял за его спиной, когда он подписывал ордер на освобождение Троцкого”. Я ошолбенела. Этих подробностей в его воспоминаниях нет, хотя в те годы воспоминания им еще не были изданы. Я и сегодня не знаю, отчего ни тогда, ни после, когда я больше подружилась с ним и его чрезвычайно приятной и умной женой Натальей Николаевной, я не спросила его, как мог он сочувствовать этому. Может, подсознательно я опасалась, что его ответ оттолкнет меня от него, а я уже тогда его ценила и не хотела испытывать внутреннее противоречие с собой в моем отношении к Степуну. Не один раз потом я прочла “Бывшее и несбывшееся”, но так и не поняла, какие внутренние пружины им двигали. Особенно в акте освобождения Троцкого.

Я никак не свожу движущие силы истории к действиям отдельных личностей и все же уверена, что без Ленина и Троцкого большевистский захват власти не состоялся бы 25 октября 1917 года. А ситуация тогда менялась так быстро, что отложенный на недели или даже на месяцы он мог бы никогда не состояться. И не погибли бы миллионы лучших людей России, не пришлось бы искать нам приюта вне России, и не было бы сейчас глубокого кризиса страны, который не знают, как разрешить. Сам Степун отвергал детерминизм. Он часто повторял, что каждый человек в глубине души знает, что мог бы поступить и иначе. “Все понять – все простить, а все простить – значит ничего не понять, так как есть вещи, которых нельзя прощать” – был один из его афоризмов. Но здесь речь идет не о прощении или непростении – в данном случае у нас на это нет права. Мне, однако, трудно это понять, поскольку Степун сам в воспоминаниях пишет, что победа Ленина казалась ему возможной и страшной.

Этические проблемы всегда интересовали Степуна не только в беседах у него на дому, но и на семинарах. В воспоминаниях он пишет, что и сейчас, считая свою деятельность на фронте после Февральской революции в духе

революционного оборончества правильной, одновременно вспоминает о ней с угрызениями совести, так как подавлял тогда ту часть своей натуры, которая жалела старую обреченную Россию. И этот внутренний компромисс, этот грех неискренности не был неизбежен: он мог отказаться от активной деятельности и выполнять только свой долг офицера. Он рассказал нам об одной ситуации, в которой, по его мнению, греховное действие было неизбежно, и все же оставалось греховным. Это было время, когда армия начала разлагаться: обстрелянные солдаты, привыкшие к дисциплине, еще держали фронт, а новобранцы не проявляли уже никакой охоты воевать и при случае дезертировали, открывая фронт и обрекая на верную гибель стоявших впереди солдат. Чтобы вернуть их в строй, он был вынужден отдать приказ стрелять по бежавшим. Некоторые были убиты, но большая часть вернулась, и старые солдаты были спасены. Степун говорил, что он понимал бежавших, более того, сочувствовал им, считая стрельбу по ним грехом, и все же вынужден был это сделать, чтобы спасти оставшихся на передовой. Анализируя такие ситуации, Степун приходил к выводу, что иногда необходимо пойти и на грех. Это весьма сомнительный вывод, ибо не нам решать, является ли такой вынужденный для спасения большего числа людей поступок грехом или нет. Об этом может судить только Господь Бог.

Вся трагическая бессмысленность первой мировой войны с самого ее начала выпукло выступала в другом рассказе Степуна, воспроизведенном в его воспоминаниях. Это рассказ о разговоре с сибирскими новобранцами, призывом которых Степун руководил. Они спрашивали, христиане ли немцы и как можно сражаться против христиан? В памяти новобранцев были рассказы о войнах против Турции и Японии. Но в книге выпущен второй вопрос новобранцев, о котором рассказывал нам Степун. На его ответ, что Германия сама объявила нам войну, последовал вопрос: «А может быть, немцы очень бедны? Мы бы сделали для них сбор; для нас это обошлось бы не так накладно, как теперь бросать наши хозяйства и ехать за тысячи километров воевать». Я слушала этот рассказ, который он не раз повторял, всегда с болью в сердце. Простые деревенские парни инстинктивно чувствовали не только ненужность, но и

страшную пагубность этой войны христиан против христиан, цивилизованных европейских стран между собой. Как могло произойти это коллективное безумие?

Степун рассказывал не раз и об эпизодах периода национал-социализма. Он вел себя очень смело, что подтверждает и один из его бывших учеников из Дрездена, который удивлялся, что Степуна тогда не арестовали. Так, на лекции, когда еще ему разрешено было читать, он как-то сказал: «Если бы мне пришлось встретиться с Гитлером, как бы я к нему обратился? *Mein Führer* (мой вождь)? Нет, ибо мой вождь только Иисус Христос. Господин рейхсканцлер? Нет, после Бисмарка я не могу Гитлеру дать этот титул! Просто господин Гитлер? Нет, это в моих глазах было бы слишком фамильярно, я не хочу с ним такой фамильярности». В самом деле, в СССР за такие речи его бы немедленно арестовали. Возможно, очередь дошла бы и до него, если бы национал-социализм просуществовал дольше. Обыски на квартире у него производились, и однажды после очередного обыска он сказал обыскивавшему: «У меня в жизни было столько обысков. А вам, господа, нужно этому ремеслу еще учиться». Они смутились. Однако, когда они ушли, Степун, к своему возмущению, обнаружил, что они съели его ликерные конфеты. Но пока все это выглядело как анекдот. У немецкого диктатора не хватило времени.

После войны Степун получил возмещение за годы, когда ему было запрещено читать лекции, и это помогло ему остаться в Мюнхене, так как он имел всего 4 часа в неделю с окладом 500 марок, на что было бы трудно жить вдвоем. (И доклады на стороне, которых, правда, было много.) Степуну предлагали ординариат в Майнце, но эта работа предполагала и большую административную нагрузку. Степун же считал, что для русского необходимо время, чтобы постоять и посмотреть в окно. Это творческое ничегонеделание ему было совершенно необходимо, что в западном мире редко кто понимал. Степуну вообще нужна была широта и свобода жизни. Так почти до самой смерти он не оставлял верховой езды.

Он, конечно, знал, что в сталинском СССР он бы не выжил. Его и здесь шантажировали представители советской власти, требуя прекращения лекционной деятельности, а то в

противном случае брату, оставшемуся в СССР, будет плохо. Однако брат его и так уже сидел в концлагере. Степун говорил мне, что эти угрозы его страшно мучают. “Но я не могу прекратить своей деятельности, это все равно, что прекратить жизнь. И кто поручится мне, – размышлял он, – что брату моему станет легче, если я исполню их требования?” Никто за это не мог поручиться, скорее всего судьба брата ни в чем бы не изменилась. Но тяжесть на сердце оставалась, и никто не мог ее снять. Кстати, его брат пережил концлагерь, при Хрущеве был выпущен и даже пережил Федора Августовича, который, впрочем, был старшим в семье.

Когда пришло время мне брать тему для докторской диссертации (соответствует в СССР кандидатской), Степун предложил мне тему “Категория мещанства у Александра Герцена”. Следуя Флоровскому, он считал, что отталкивание от мещанства атеиста Герцена имело религиозный характер. И Степун мне сразу же указал на это. Но я возразила, решив разработать эту тему в социологическом аспекте. Степун не возражал. Своим студентам он предоставлял свободу творчества.

Однако в ходе работы над темой я все яснее видела, что Флоровский и Степун правы. Религиозные аспекты чрезвычайно мучили атеиста Герцена. Вместе с тем я стала замечать и другое: Герцен не знал истинного христианства. Не знала его тогда и я. Лекции Романо Гуардини я начала слушать уже после окончания университета, курс которого я из-за недостатка средств вынуждена была пройти в кратчайший срок.

Но каким-то чутьем я улавливала искажения христианства у Герцена. Вообще работа над атеистом Герценом дала мне много в моем понимании христианства, хотя это была еще, так сказать, предварительная ступень. В диссертации я рассматривала также Чаадаева, Достоевского и Константина Леонтьева. У двух последних и у Герцена сходство в отношении к мещанству бросалось в глаза. Степун не требовал этого расширения темы, но остался им доволен. Он помог мне и финансово, заплатив машинистке, перепечатавшей мою работу. Работе он дал очень хорошую

оценку, так же как и второй референт профессор Франц Шнабель, у которого я сдавала экзамен по новой истории.

В Германии нет защиты докторской диссертации. Надо сдавать авторский экзамен по главному предмету у руководившего диссертацией профессора, а также по двум побочным предметам. Вопросы задаются по предмету, но, как правило, темы диссертации не касаются. Однако мой экзамен у Степуна был так же необычен, как и его метод преподавания и он сам. Почти все время, отведенное на экзамен, мы проспорили о Константине Леонтьеве. С творчеством Константина Леонтьева я впервые познакомилась в ходе работы над диссертацией и была полностью захвачена этим смелым, оригинальным мыслителем и провидцем, предсказавшим все гибельное развитие России вплоть до колхозов (“я вижу впереди коллективное рабство”). Конечно, в какой-то степени я его тогда переоценивала, но в основных чертах мое отношение к К.Леонтьеву осталось неизменным. Я никак не могла понять, как Федор Августович, умный и вдумчивый человек, может видеть в Леонтьеве лишь поклонника авторитарной власти, который, возможно, даже принял бы большевизм. Уверена, что именно его он никогда бы не принял. Он любил дух Византии и строгого православия, но любил и разнообразие, любил игру жизни в переливаниях ее цветов и красок. Как мог бы он принять страшное, жестокое и одновременно серое, непомерно скучное царство “научного” марксизма? Спорили мы горячо, друг друга не переубедили, но весь Степун был в том, что по окончании экзамена-спора он мне сказал: “Я ставлю вам высшую оценку, потому что мне обычно в споре удается всех прижать к стенке, а вас мне прижать не удалось”.

Мы сохранили контакт и после моего окончания университета в 1951 году. Я могла наблюдать, как меняется “я” старого человека. Это не была перемена к худшему, когда наружу проступают отрицательные черты. Степун менялся в светлую сторону. С него спадала патина относительной левизны, впитанной им в молодые годы в среде революционной и полуреволюционной молодежи, в среде более

или менее идеалистически настроенных социалистов. Трудно, видимо, рвать связи, возникшие в молодости, те связи, которыми человек до какой-то степени опутал сам себя. Вот этот налет левизны – назовем это так, хотя данный термин сильно упрощает сложную действительность, – я чувствовала с первой же лекции Федора Августовича и потом в течение моего студенчества и нашего знакомства. Часто я спорила, собственно говоря, именно с этим, хотя далеко не всегда умела это выразить в более или менее адекватных понятиях.

И вот как-то Степун мне говорит: “А я правую!” На что я ему ответила: “Я это с удовольствием замечаю”. Так как теперь в СССР правыми называют твердолобых коммунистов, я должна пояснить свое понимание термина “правый”. Правое – это органическое восприятие жизни и истории, бережное к ней отношение, отказ ломать жизнь и историю по чисто головным, выдуманым, далеким от жизни схемам и теориям. Правое включает в себя также и иррациональное, интуицию, настоящую мистику и религию. Левое же – это чистый интеллект, рацию, лишенное всякой интуиции, всякого чувства жизни; это схематическое, доктринерское отношение к жизни и истории. Левое – это понимание жизни как машины, а человека как винтика в ней. Знаменательно в этой связи, что теперь физиологи считают, что правая часть мозга “заведует” творческим элементом в человеке, интуитивным познанием, тогда как левая часть мозга – чистым интеллектом. Поправление Степуна никак не означало его отхода от того начала свободы, которое всегда в нем жило. Из его внутреннего «я» окончательно уходил только поверхностный либерализм, владевший им в известной степени (хотя и никогда полностью) в прошлом, уступая место той метафизической глубине, которую он всегда исповедовал, будучи христианином, но которая долго не овладевала полностью всем его “я”, в том числе и подсознательным. Теперь же свобода, исходившая из истины, полностью вытеснила поверхностную, лишь политическую свободу. Степун часто цитировал из Евангелия: «И познаете истину и истина сделает вас свободными» (Ио. 8,32). Разумом он всегда принимал эти слова, но теперь они окончательно наполнили все его внутреннее “я”.

Менялась, конечно, и я. Вскоре после то-

го, как я познала сущность и глубину христианства, я присоединилась к католической – в моих глазах Вселенской – Церкви. Этот мой шаг Степун принял совершенно толерантно. Он в свою очередь часто говорил мне, что я, став католичкой, меняюсь в положительную сторону. Правильнее было бы сказать: став христианкой.

Как и большинство начинающих преподавателей высшей школы в Германии, я работала в других университетах, прежде чем окончательно вернулась в Мюнхен. Я была во Фрейбурге, когда скончалась Наталья Николаевна; на ее похороны я уже не успела попасть. Для Федора Августовича это был большой удар. Несколько смягчен он был тем, что его младшая сестра, Маргарита Августовна, вместе со своей подругой Г.Кузнецовой (автором книги “Грасский дневник”, переехала из Женевы в Мюнхен. Им удалось получить квартиру в том же доме, и даже в партере напротив квартиры Федора Августовича.

После моего возвращения в Мюнхен мы с Федором Августовичем снова частенько встречались. Большей частью он приглашал меня после обеда на чай с пирожными. “Я как медведь, мне надо чего-нибудь сладенького”, – говаривал он. Иногда я вытаскивала его с сестрой и ее подругой на концерты, которыми тогда очень увлекалась.

Незабываемым остался день 24 февраля 1965 года. Заранее мы условились, что я зайду к нему в этот день на чай. Но когда я в час дня включила радио, чтобы послушать известия, я узнала о неожиданной смерти Ф.А. Степуна. Я бросилась к телефону.

Маргарита Августовна рассказала мне, что накануне, 23 февраля, они вечером были на чьем-то докладе; Федор Августович был бодр, с интересом прослушал доклад. Домой они вернулись около 11 часов вечера. Неожиданно у самого входа в дом Федор Августович упал. Обе женщины с трудом перетаскивали довольно грузного больного в квартиру и положили на ковер. Придя в сознание, он попросил: “Подымите голову”. Они подложили ему под голову подушечку. Конечно, немедленно вызвали “скорую помощь”, но, когда она приехала, было уже поздно. Федор Августович скончался. С ним случился мозговой удар.

Мюнхен, 1991

Даниил Петров

ЛИНГВИСТИКА ВЧЕРА И ЗАВТРА

Выработанная в конце прошлого и начале нынешнего века классификация языков мира, включавшая их распределение по семьям, была большим шагом науки вперед; но она же оказалась, в известном смысле, и бедствием. Уверившись в правильности положений, на коих она основывалась, лингвисты не допускали впредь сравнений, выходящих за рамки каждой из установленных языковых семей, что в свою очередь влекло за собою все более и более узкую их специализацию и сопряженную с оной ограниченность их кругозора.

Когда уж приходилось констатировать явное сходство между словами в языках, принадлежащих к разным системам, пускались в ход 3 сорта объяснений: 1) случайное совпадение; 2) заимствование и 3) звукоподражание.

Однако случайность может иметь место **изредка**; когда она повторяется часто и носит регулярный характер, – нужно искать другие причины. Заимствование возможно, когда налицо языки, распространенные на прилегающих друг ко другу территориях; но ее следует исключать, если такого соприкосновения нет и если древность анализируемых слов бесспорна.

Звукоподражания мыслимы лишь в ограниченной сфере слов, и часто их вероятность можно откинуть, исходя из смысла и формы слов, о коих речь.

Гениальный, рано и трагически погибший подсоветский лингвист Владислав Маркович Иллич-Свитыч, опережая всех своих коллег и современников, первым рискнул последовательно нарушить табу, наложенное на сравнения между лексикой различных языковых семей.

И получил блестящие результаты, создав учение о группе **ностратических** языков, куда входят индоевропейские, семито-хамитские, уральские, алтайские, картвельские и дравидские.

Мы не знаем, расширил ли бы он позже рамки этой новой языковой общности: его трудам положила конец смерть.

Можно отметить, что он, – следуя в этом робким предположениям своих предшественников, – ограничился в основном языками белой расы (кроме, впрочем, дравидских), и

притом – сгруппированных по ближайшему соседству между собой, и целиком в пределах Старого Света. Но ничто не мешает расширить область его исследований.

И тут мы сразу наталкиваемся на интереснейшие факты.

Подчеркнем сперва их значение.

Если во всех языках мира есть некий общий реликтовый фонд, то это с несомненностью свидетельствует о происхождении человеческого рода из единого источника. Иначе говоря, мы находим тогда ответ на не разрешенную до сих пор проблему о моногенезе или полигенезе в пользу первого.

Разумеется, к конечным итогам можно прийти лишь по этапам и ценой длительной работы. Но всякое сужение сферы, сведение неисчислимого множества языков к немногим основным группам, является уже существенным шагом.

Перейдем теперь к конкретным наблюдениям.

Допустим на миг, что если имеется тот реликтовый фонд, о каком мы упоминали выше, то он должен касаться в первую очередь наиболее обиходных понятий, наличествовавших в языке наших предков, первобытных людей.

Они жили охотой, следовательно, можно полагать, что весьма значительным элементом их речи было понятие “мясо”.

Посмотрим, сохранились ли в данной области архаические термины, и в каких именно языках. Для удобства, будем для всех пользоваться кириллическим алфавитом.

Итак, что же мы имеем?

Эскимосский язык: **ныка**; японский: **нику**; нахуатль (язык мексиканских ацтеков): **накатль**. Если мы перейдем к языкам индоевропейским, то найдем в древнегреческом слово **некюс** “труп”, “мертвое тело”. Оно родственно с латинскими глаголами **неко** “убивать” и **ноцео** “вредить”. Тут будет кстати привлечь язык русских крестьян, именующих мясо **убоиной**.

Более сомнительно в этой связи, но заслуживает упоминания, гиляцкое **нык** “хрящ”, а за ним и финское **никама** “позвонок” (связанное с понятием “костный мозг”).

Другое название того же предмета отражено в нашем слове **мясо**, санскритском **мамсам**. Оно же представлено и в латыш-

ском **миеса** “живое тело”. Рассмотрим возможные соответствия в иных языках: эскимосское **мысик** “топленный жир”, айнское **мим** “рыбья плоть”, малайское **мангса** “добыча” (в первую очередь хищного зверя), австралийское **минья** “любое животное, чье мясо годно в пищу” (надо учесть, что в языках туземцев Австралии звук *с* отсутствует), нахуатль **масатль** “олень”, японское **масу** “форель”; возможно и финское **макса** “печень” (у многих дикарей печень считается лакомым куском) и гиляцкое **мось** “студень”.

В целом, приведенные примеры отражают вкусы разных народов и в разные времена, а также и то, какая пища им была важнее и доступнее. С точки зрения смысла, слово очевидно выражало, в отличие от корня **нек-**, идею не об убитом уже животном, а о звере как объекте охоты.

Есть, быть может, и третье слово, передающее то же понятие: немецкое **лейхе** “труп” (от корня **лиг-**), финское **лиха** “то же самое”, арабское **лахма** и картвельское **лагв** “мясо”. Здесь исходным понятием служило, видимо, “образ”, “тело”, а затем уже “труп”, “мясо”.

Где бы, и в каких бы условиях ни жили наши предки, они, без сомнения, имели слово для обозначения “дома”.

В древнегреческом языке “дом” называется **ойкос** (из более старого **войкос**), ср. латинское **викус** “селение”. В гуарани, одном из главных индейских языков Южной Америки, “дом” называется **ога**. Слово это, по всей очевидности, родственно знакомому нам всем с детства североамериканскому **вигвам**. Остается заключить, что в Новом Свете индоевропейское **к** превратилось в **г**. Это подтверждает и эскимосское **иглу**, с тем же расширением на **л**, что и в латинском **вилла**. Эволюция гласных не представляет собою ничего удивительного. В тех индейских языках, где **г** вообще нет, мы находим **к**, как в перуанском кечуа; **уака** “могила” (вполне прозрачный эвфемизм). Возвращаясь ко Старому Свету, отметим японское **икка** “дом”. В малайском **вангканг** приняло смысл “лодка”; что отражает, вероятно, долгие странствования австронезийцев по морям и рекам.

Любопытно, что нигде, вне индоевропейской территории, мы не видим смыслового развития в “селение”, “деревню” (как в латинском **викус** и в нашем **весь**).

Охотничий быт связан с повышенным ин-

тересом к животным. Вот несколько примеров. Индоевропейский корень **куо** – или **куон** – означал “собаку”. Отсюда латинское **канис** и немецкое **хунд**. И далее: малайское **койок** “бродячая собака”, нахуатль **койотль** “койот”, тюркское **канчик** “сука”. Для китайского специалисты восстанавливают корень **кеу**, **ку** “собака”; корейское ее название **ка**. В языке семьи банту, камба, гиена именуется **кикойо**; в суахили, с некоторым изменением **чуи**. В эскимосском **кайна** значит “бурый медведь”. Может быть, сюда же надо отнести и японское **кума тж**. Зато гиляцкое **каи** так и значит “собака”.

По латыни **тальпа**, это – “крот”. В ряде языков **л** перед **п** отпадает, и мы имеем: малайское **тупеи**, селькупское **тяпак** и **тяпанг** и кетское **тип** “белка”; добавим еще юкагирское **топоко** “собака”. Зато в других языках налицо корень **тел-**, без расширения на **л**: арабское **талаб** “лисица”; тюркское **толай** “заяц”, дравидское **толь** “шакал”. Вероятно, сюда же относится и японское **тора** “тигр” (звука **л** в японском языке нет). Напротив, в гуарани мы встречаем **тапити** “кролик”, как в малайском и кетском.

Любопытно слово для “олень” или “коровы”. Латинское **цервус** “олень”, малайское **кербау** “буйвол”, алгонкинское **карибу**, суахилийское **куро** “антилопа”, грузинское **крав** “ягненок”. Может быть, сюда же относится турецкое **кураган**, тоже “ягненок”.

Возьмем еще слово, в индоевропейских языках означающее где “черепаха”, а где “рак”: санскритское **камматах** “черепаха”, греческое **каммарос** “креветка”: малайское **камбар** и **камблу** и японское **каме** “черепаха”, суахилийское **камба** “рак”.

Остановимся на слове, передающем, возможно, начало земледелия: наша **нива**, родственное греческому **нейос** “поле”; финское **нева** “болото”, японское **нива** “сад”. Смысловое развитие тут весьма логично: болото превращается в обработанное поле и дальше в сад. Причем предполагается некая прародина со влажной, болотистой почвой.

Впрочем и относящееся, вероятно, к более позднему периоду название “основного питательного злака” богато представлено в разных языках: латинское **фар** “полба”, английское **барли** “ячмень”, и, с другой стороны, арабское **бурр** “пшеница” и малайское **берас** “рис”.

Перечисленные слова уже довольно трудно, полагаем, объяснить случайными совпадениями или тем более заимствованиями и звукоподражаниями. Но допустим, что это и возможно. Но беда в том, что подобных слов множество! Мы за короткое время их собрали десятки... Пусть даже часть и отсеется. Общая картина от того вряд ли изменится.

Начиная с момента появления на сцену ностратической теории, которая означает допустимость широких лексических сравнений

практически между любыми языками мира, лингвистика вступает в новый период. Становится возможной реконструкция не только праиндоевропейского или, скажем, прауральского языка, – мы вступаем на почву куда более замечательных открытий и прозрений: путь, на котором языкознание делает, правда, еще первые и неуверенные шаги, ведет к воссозданию праязыка человечества в целом!

Романо Гуардини

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО (Окончание. Начало в № 65)

ГЛАВА VII. СИМВОЛ ХРИСТА

Постановка вопроса

Любое рассмотрение духовного мира Достоевского непременно приводит в числе прочих и к вопросу о значении его самого глубокого религиозного произведения – романа “Идиот”. Я попытаюсь ответить на него. При этом мне придется в большей мере, чем это, видимо, обычно допускается, исходить из опыта своего личного общения с книгой. Следующие ниже рассуждения дадут возможность судить о моих стараниях как-то в ней сориентироваться; итак, они не претендуют на большее, чем служить гипотезой.

Сколько бы раз ты ни возвращался к “Идиоту”, тебя снова и снова охватывает ощущение колоссальной религиозной интенсивности этого мира, сопоставимой лишь с той, что присутствует в творениях Рембрандта. Здесь ощущаешь могучее и глубокое присутствие Бога и без того, чтобы о Нем много говорилось. Он здесь, Он встает во весь рост, Он правит.

Это не подлежит сомнению. Не подлежит сомнению и то, что Его присутствие заявляет о себе прежде всего личностью князя Мышкина, ощущается в нем, вокруг него. Однако более глубокий анализ ставит нас перед загадкой: этот человек, в такой мере воплощающий реальность святого, – как относится он к Богу? к себе самому? к другим людям?.. Здесь ощущается нечто загадочное. Испытываешь искушение отгадать эту загадку с помощью хоть и трансцендентной, но привычной формулы: Мышкин – христианин с особенно интенсивным настроением. Можно конста-

тировать также его особое сходство с Христом, можно припомнить известное высказывание апостола Павла: “ Уже не я живу, но живет во мне Христос ” (Гал. 2,20) ...Но как бы близко все это ни лежало – этого недостаточно. Более того, так можно даже затемнить истинную суть. Князь – человек, как и мы все. Подлинное содержание его бытия носит религиозный характер. В конечном итоге речь здесь идет о Христе, как бы мало ни говорилось о Нем непосредственно и как бы редко ни адресовались мысли Мышкина или побуждения его сердца непосредственно Ему. Тем не менее я не думаю, чтобы в намерения Достоевского входило просто изобразить христианина, пусть даже необычного, – что подтверждается, на мой взгляд, тем, что мы постоянно ощущаем присутствие Христа, без того чтобы слова или умонастроения были соотнесены с Ним прямым образом.

Как творцу человеческих образов Достоевскому присуще такое величие, которое постигается не сразу. Чем с большей четкостью различаешь целое, и в то же время – отдельные черты его персонажей, тем непостижимее становится это величие. Кажется, что пред этим писателем раскрывается чрево самой действительности, выпуская наружу одну фигуру за другой. Но, быть может, самое загадочное – это его способность реализовать не-человеческое существование, будь оно под-, или вне-, или над-человеческим, в человеческом бытии. Но не так, чтобы при этом возникали такие фантастические существа,

как у многих романтиков; напротив, перед нами – человек во всем своеобразии его реально существующей структуры, человек со своей жизнью, своими поступками, своей судьбой – и все же из всего этого проступает картина такого бытия, которое само по себе уже не может считаться человеческим.

Вот Кириллов, утверждающий, что Бог “всегда мучил” его и считающий своим долгом покончить с этим мучением. При этом он присваивает себе прерогативу Бога, суверенность Его воли, причем самым ужасным образом из всех возможных, – кончая жизнь самоубийством. Но в тот момент, когда он хочет осуществить это решение, его движения вдруг изменяются: он начинает вести себя как марионетка. В момент реализации решения заявляет о себе форма существования того механизма, который переводит человека в план мертвой абстракции. Он – Кириллов, человек; но из его членов, его движений проступает образ марионетки...

Если пристально взглянуть в Смердякова, четвертого из братьев Карамазовых, то невольно задашь себе вопрос, человек ли он вообще. Разумеется, он человек: он мыслит, говорит, одевается, ест, пьет, у него есть свое тщеславие, свои секреты и свои внешние проявления. И все же, если проследить его отдельные, столь выразительные черты – к примеру, характер его тщеславия, и на что оно направлено, и то, что тщеславие это не имеет никакого отношения к остальным людям, и его странные ощущения, пристрастия или то, что внушает ему отвращение, или его парадоксальную логику, или его манеру проявлять внимание и воспринимать – не прямо, а словно бы окольным путем, – или ту поразительную, холодную серьезность, с которой он реагирует на религиозную или этическую тематику, – когда я проследил все это, я вдруг понял: ведь это Альраун! Нечто среднее между растением и слизняком! Хоть он и настоящий человек, но в нем заявляет о себе то, иное. Не то чтобы человек просто изображал или “персонифицировал” это – нет, этот образ проявляется в нем, в его чертах, в его движениях, в его речи...

Аналогичным образом – правда, с совершенно другим смысловым итогом – складывалось мое отношение к младшему из четырех братьев Карамазовых, Алеше. Я обратил внимание на то, как по-особому он воспринимает

истину, на его манеру высказывать правду – не только интенсивно, но и с особым акцентом. В этом, как представляется, и состоит то особое, что выделяет этого человека из числа прочих. Старик Федор называл его “ангел мой”, старший брат Дмитрий – “херувим”; Иван, тот самый, конфликт которого с Алешей располагается на линии сверкающей истины, исходящей от Бога, также использовал это слово – и мне показалось, что и здесь проступает образ из сферы внечеловеческого – образ ангела, а именно – того ангела, характернейшим устремлением которого служит познание, – херувима... Здесь можно было бы привести еще целый ряд соображений такого рода. Эти и им подобные персонажи помогают, как мне представляется, угадать истинный смысл “Идиота”.

Личность Мышкина

Займемся сначала, чтобы раскрыть неподдельную человечность Мышкина, его индивидуальностью.

Мы встречаемся с ним в самом начале романа, в холодное, туманное утро, в вагоне поезда, которым он возвращался из Швейцарии в Россию. Жалкий узелок составляет весь его багаж. О внешности его говорится следующее:

“Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек... лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее” (И.6).

Голос его характеризуется как “тихий и примиряющий”, и позже мрачно-недоверчивый Рогожин скажет ему: “Я твоему голосу верю, как с тобой сию”.

Многokrатно подчеркивается, что у князя прекрасные манеры, что он любезен и исполнен такта. При этом он вовсе не так уж и ловок в обществе, нередко выглядит даже смущенным и неловким. Тем не менее обстоятельства никогда не одерживают над ним верх; он всегда сохраняет свою суверенность.

Однако он не прикладывает к этому никаких особых усилий; все это происходит за счет естественности его натуры.

В начале повествования он одет более чем скромно, можно сказать – плохо. Получив большое наследство, он появляется в очень элегантно-модном виде, но платье его, добавляет Достоевский, было сшито слишком уж по моде, – так, как это случается с людьми, которые, не высказывая никаких собственных пожеланий, целиком доверяются слишком уж добросовестному портному. По сути дела, ему безразлично, какая на нем одежда – скромная или элегантная... Столь же равнодушен он, по-видимому, и к материальному достатку. Сначала он беден, но, очевидно, не ощущает этого, иначе он не смеялся бы так весело над теми грубыми шутками, которые отпускают его попутчики Рогожин и Лебедев по поводу его узелка. Он без малейшего смущения признается в нехватке средств к существованию, радуется, когда Рогожин выражает желание помочь ему, позже охотно берет в долг несколько рублей, и не помышляя при этом об унижении своего достоинства. С другой стороны, его не слишком трогает и унаследование большого состояния. Он упоминает об этом лишь позже, да и тогда – только в связи с другими вещами, важными для него в человеческом смысле. Он дает деньги не считая и признает справедливость даже самых наглых требований. “Эх ты, простофиля, простофиля! – возмущается генеральша Епанчина, его несколько эксцентричная приятельница, полюбившая его как сына. – Все-то тебя обманывают!” Духовные ценности для него с такой несомненностью выше денег, что эти последние вообще теряют всякое значение, – недаром генерал, никогда не упускавший своей выгоды, объявляет его “погибшим человеком”.

На характере князя лежит печать благородства. При этом мы никоим образом не воспринимаем его как фантазера; человек он скорее реалистический и достойный доверия. То, что Аглая изображает его Дон-Кихотом, диктуется совсем другими причинами: этим способом она хочет в порыве самоистязания отплатить ему за недостаточно четко выраженные мужские качества.

Мышкин – мужественный человек. Он не бесстрашен, как Ставрогин, а храбр. Это становится очевидным из тех двух сцен, когда он встает на защиту женщины: сестры Гаврилы

Ардалионовича – в квартире последнего и На стасьи Филипповны – в “Павловском воксале”. Оба раза он – единственный, кто вступает за женщину; оба раза ему не сходит это с рук. Но если бы подобная ситуация возникла еще раз, он поступил бы точно так же. Эта смелость есть нечто большее, чем бесстрашие холодного сердца: “Трус тот, кто боится и бежит; кто боится и не бежит, тот еще не трус”, – говорит он сам с улыбкой, “пообдумав” (И.293). На глазах у “общества”, т.е. того, безжалостнее чего трудно себе представить, он защищает те тонкие и благородные понятия, которым здесь не придается никакого значения. Это – та метафизическая смелость, которая служит признаком посланничества и чревата большими страданиями.

В князе живет тонкое чувство чести. “Я, может быть, смешно очень выразился, – говорит он однажды в трагическую минуту, – и был сам смешон, но мне все казалось, что я... понимаю, в чем честь” (И.142). Он имеет в виду честь в ее суверенной форме: внутреннее обязательство служить высокому, бескорыстному, беззащитному.

Он доверяет каждому, поэтому его считают болтливым. Но это – просто отсутствие подозрительности, свойственное предельно благородному человеку, не умеющему постичь, что следует быть осторожным. И то, что его доверием часто и бесстыдно злоупотребляют, ничуть не мешает ему дарить им людей снова и снова. Его доверие есть нечто творческое. Несмотря на то что он никогда не “судит” других, как и Алеша, но только по другой причине (по своей загадочно-многодумной смирности), – он очень тонко чувствует, что представляет собой человек и что в нем истинно.

Но особенно глубока его связь с завершенностью. Ценности завершенности таят в себе угрозу; это предельные ценности. Ими и определяется судьба Мышкина, его гибель. Встретившаяся ему на жизненном пути На стасьи Филипповна – человек по своей натуре живет под знаком завершенности. Все, что есть ценного в ее существовании, отлито в форму крайнего предела. Если бы ее окружало добро, если бы ее развитие проходило в условиях чести и свободы, она стала бы героически дерзающей личностью, способной на великую, творческую любовь. Тоцкий разрушил ее жизнь; и так как над этой жизнью вла-

ствуется закон завершенности, то разрушение затрагивает и самые основы. Мышкин подвластен завершенности по самой своей сути; потому-то и настигает его судьба в лице этой женщины, красота которой губительна, а жизнь отмечена печатью завершенности. Его "любовь-сострадание" несет в себе смерть.

Князь достигает больших высот в понимании других людей. "Я теперь очень всматриваюсь в лица", – признается он (И. 65). Он живо реагирует на все оттенки выразительности. Показателен в этом плане его особый графологический дар, его владение строгой каллиграфией, стилистическим нюансам которой он дает тонкое толкование. (И.29–30). Людей он видит насквозь, – чуть ли не как провидец. Меткость его взгляда объясняется отсутствием корыстных интересов и враждебности; поэтому Мышкин не предубежден, а внутренне полностью открыт. Он предоставляет другому свободу во всех его проявлениях, и тот предстает его взору таким, каков он на самом деле.

Более того: он может позволить себе проявить свою сокровенную сущность, обычно скрытую от глаз. Для Мышкина не существует людей незначительных. В каждом он предполагает присутствие достоинства и доброй воли, каждому идет навстречу с верой в него, – не в педагогических целях, а самым естественным образом. При этом он, однако, несколько не заблуждается относительно его недостатков, или душевной скудости, или непорядочности. Напротив, он оценивает их со спокойной объективностью и абсолютно реалистически. Поэтому при общении с ним человек вдруг оказывается в атмосфере неподдельной, раскрепощающей свободы. Ему больше не нужно обороняться против морального приговора, диктуемого самовлюбленностью или лицемерием, ибо приговор не выносится; не приходит ему в голову и играть какую-либо роль или становиться в позу, так как его видят насквозь. Это идет ему на пользу – дает свободу и возвращает к истине. Это обретение душевной ясности воскрешает в человеке – без какого-либо пафоса, со спокойным, хоть и возвышенным реализмом – то, что дано ему от Бога и помогает ему вернуться к истинным ценностям в единении с самим собой.

Этим и определяется та сила безграничного сострадания, которой обладает Мышкин.

Его готовность помочь самозабвенна. Чужое существование, его беды переживаются им как свои собственные. Это могло бы показаться пассивностью, отдачей собственного "я" во власть чужому страданию, более того – стихийным жертвованием себя другому вплоть до поглощения им, при том что за конкретным "ты" вздымается мировое "ты". К этому присовокупляется и тот патологический момент, о котором пойдет речь ниже. И действительно, сострадание Мышкина нередко достигает тех пределов, когда личности начинает грозить опасность прекратить свое существование, выпав из сферы христианского. Но в конечном итоге этого не происходит – благодаря его спокойному, реалистическому взгляду на вещи. Отсюда сочувствие и черпает силы для своего подвижничества, становясь той питательной почвой, из которой произрастает то, "иное".

Понимание, самоотверженность, доброта, готовность помочь, сочувствие – к этому ряду следует добавить одно качество, которое по своему характеру не входит в него органически: правдивость. Ее наличие в этой исполненной сострадания натуре, скажем больше – та степень, в которой она, вплоть до мельчайших деталей, эту натуру определяет, придает этому состраданию его личное и метафизическое качество.

Правдивость этого человека состоит, однако, не только в том, что он не лжет, но и в том, что он всегда, везде, не думая о возможных последствиях, высказывает познанную им истину. Часто это действительно бывает чревато очень нехорошими последствиями; но истина хочет говорить его устами, и он отдает себя в ее распоряжение.

Мышкин – последний представитель очень древнего, рано упоминающегося в истории России княжеского рода, и он действительно – также и по своим внутренним качествам – последний.

С чисто биологической точки зрения здесь можно было бы говорить о вырождении. С детства Мышкин страдал эпилепсией. С течением времени припадки участились, так что он постепенно превратился чуть не в полного идиота. Из его собственного рассказа мы узнаем, как он затем приезжает в Швейцарию и переживает там трудное время, пока тяжесть и внутренний мрак внезапно не покидают его и он не находит путь к природе и к

людям; как постепенно укрепляются его здоровье и дух в общении с деревенскими детьми и с несчастной Мари (незабываемо его повествование о дружбе с детьми и с презираемой, обреченной на смерть девушкой!). Когда потом он возвращается в Россию, чтобы вступить во владение наследством, он еще не вполне излечен, но состояние его здоровья все улучшается. Однако на протяжении тех нескольких месяцев, которые охватывает действие романа, он испытывает страшные потрясения; припадки возобновляются, а после того, как трагедия достигает апогея, его рассудок омрачается уже необратимо. В послесловии мы вновь находим его, в неизлечимом состоянии, никого не узнающим, в том же швейцарском заведении, из которого он уехал в Россию... Следовательно, здесь перед нами – биологически подорванное существование. Этот факт безжалостно подчеркивается поведением той женщины, которую он любит для себя и своего счастья – Аглаи. Она отвечает на его чувство всем своим женским существом, и поэтому его глубоко задевает, что она, руководствуясь своим верным инстинктом, не воспринимает его как полноценного мужчину и вначале видит в нем Дон-Кихота, а затем издевается над ним уже откровенно как над “рыцарем бедным”, срывая таким образом покровы со своей любви.

Плохо приспособлен он и к общению с людьми, к самоутверждению в повседневности, ибо описанные выше качества едва ли способствуют продвижению вперед и земному восхождению. И тем не менее, если исходить из человека, а не только из физиологического или экономического аспекта бытия, здесь вряд ли можно говорить о вырождении. Болезнь Мышкина не порождает в нем ни одной черты того угрюмого, тупого существа, присутствие которого столь часто накладывает печать на ум и сердце больных тяжелой эпилепсией. Его сущность остается свободной, открытой и рыцарской. Во время самых болезненных припадков он испытывает состояние, похожее на экстаз, и считает эти мгновения “высшим синтезом жизни”. Рогожину он подробно рассказывает об этих проблесках, несущих с собой невероятное напряжение всех жизненных сил и сияющую, переливающуюся через край полноту чувств. Это – “*Morbus sacer*” с нуминозным содержанием, окруженный таинственной вибрацией...

Создается впечатление, что к этому существованию нельзя применить эпитет “больной”. Одной из аксиом учения о подлинных ценностях служит, очевидно, то положение, что чем выше ранг какой-то ценности, тем в меньшей степени она защищена в реальном мире. Жизнь Мышкина можно считать прямо-таки живой иллюстрацией к этой аксиоме: максимум качеств, имеющих высшую ценность, заключен здесь в рамки существования, не способного к самоутверждению внутри мира.

Смысл образа

Думаю, что теперь личность Мышкина предстает перед нами более четко, и мы можем обратиться к тем связям и отношениям, которые, собственно, и интересуют нас в первую очередь. При этом его образ будет вырисовываться все полнее.

Я буду последовательно обращаться то к одному, то к другому моменту его существования, давая возможную трактовку, и прошу читателя не торопиться с выводами, а подождать, пока из деталей не возникнет целое. Частности тесно связаны друг с другом. Ни одна из них не обнаруживает всего своего значения сама по себе; лишь в совокупности с другими она начинает говорить недвусмысленным языком. Поэтому для критики, преследующей серьезные намерения, момент наступает лишь с появлением целого.

Жизнь Мышкина со всеми ее событиями, соотношениями и фазами – с начала и вплоть до катастрофы – складывается в подлинно человеческое существование. Необычное, потрясающее воображение, но – абсолютно человеческое. Если же открыться ему навстречу, то чувствуешь, что как единое целое оно – внутренним переплетением смысла, всей своей атмосферой, – как и многими деталями, ход за ходом, событие за событием, начинает выводить тебя за пределы собственно человеческого. Все имеет присущее ему значение, но в то же время говорит, выступая за пределы себя, и о чем-то другом.

Этот человек приходит к нам из эпилепсии, из мрака, не доступного тому, кто обитает в повседневном, здоровом. Скоро он вновь туда вернется. На небольшое пятно светлого существования падает темная тень доступности. Его фигура возникает из этой тени, про-

ходит через небольшой светлый промежуток и вновь растворяется в непостижимом... Если я правильно информирован, то попытки обнаружить в эпилепсии определенный смысл были вдохновлены идеей, что в ней проявляется подсознательное стремление раздвинуть рамки своего рождения, реального существования и исторических связей, проделав путь назад, – за собственное рождение...

С этим связано и второе соображение: во время своей болезни Мышкин общался в основном с детьми. Это могло бы означать просто мирную идиллию, в благотворном воздухе которой и окрепла его конституция после тяжелых потрясений. Однако здесь присутствует нечто большее. Мышкин действительно живет жизнью детей. Он перенимает их форму существования. Он находится в сфере их бытия. Он воспринимает ребенка без взрослой снисходительности, напротив – очень серьезно. Ребенок для него – полноценный человек, во многом более мудрый, нежели взрослый: “Ребенку можно все говорить, – все; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают. Большие не знают, что ребенок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О Боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно ее обмануть!” (И.58).

Тот, кто хорошо знает Достоевского, несомненно помнит, что мудрые и набожные его персонажи всегда были особенно близки к детям; уже только в “Братьях Карамазовых” это старец Зосима, сопровождающий его отец Анфим и Алеша, образ которого неотделим от окружающей его толпы детей. Для людей этого рода в детях кроется некая религиозная тайна, – тайна человека, еще не утратившего близость к Богу, продолжающего нести в себе нечто от рая. Поэтому в той стране детей, из которой приходит Мышкин, нам открывается более глубокий смысл...

Послушаем, как Мышкин рассказывает о своем отъезде:

“Я сидел в вагоне и думал: “Теперь я к

людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь”. Я положил исполнять свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным”.

Не правда ли, здесь проступает нечто особенное? Сначала – “теперь я к людям иду”, а через несколько строк – “с людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело”; не возникает ли здесь впечатление, что кто-то приходит к людям из “внечеловеческой” сферы? Из той, которую воплощают собой дети? Из того, что находится по другую сторону взросло-земного, из сферы небесной? И что он идет “к людям” с их исторической преемственностью, и видит свою миссию в том, чтобы “быть откровенным”, поступать по законам чести, и готов неукоснительно выполнять ее, и знает, что он одинок и что ему будет трудно? Да и его самого будут считать “ребенком”, иными словами – существом, устроенным согласно логике Неба и поэтому не взрослым, не достигшим на земле совершеннолетия.

Правда, эпилепсия может символизировать собой также попытку бегства от “взрослости”, от исторической ответственности в сферу до-личностного, точно так же как способность жить жизнью детей вызывает подозрение в инфантильности. И действительно, интерпретируя собственное “я”, Мышкин многозначительно связывает воедино понятия “ребенок” и “идиот” (в этого последнего его превратила на какое-то время болезнь, и он действительно был тогда праздным существом с помраченным сознанием: “Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка, – так пусть! Меня тоже за идиота считают все почему-то, я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: “Вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются...” (И.64).

Разве здесь не вырисовывается психология человека, знающего, что он живет чем-то другим, отвечающего внутренне высшим меркам, – короче говоря, дитяти Неба? И разве он в то же время не дает “людям” повод с подозрением относиться к тому, что в нем живет, то бишь “сердиться”?

Так этот человек вступает в мир, и мир сразу же начинает преследовать его.

В кабинете генерала он видит фотографию Настасьи Филипповны, и ее лицо поражает его.

“Удивительное лицо... и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а ведь она страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!” (И.31-32).

В этих словах – судьба...

Несколько часов спустя он снова разглядывает фотографию:

“...он... подошел к окну... и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны.

Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть, были в этом лице, и в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно просто-душное; эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота! Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно” (И.68).

И когда генеральша, видящая в Настасьи Филипповне деклассированную женщину, с некоторым пренебрежением замечает: “Да, хороша... очень даже. Я два раза ее видела, только издали”, – и внезапно спрашивает князя: “Так вы такую-то красоту цените?” – ему нелегко ответить.

“– Да... такую... – отвечал князь с некоторым усилием.

– То есть именно такую?

– Именно такую.

– За что?

– В этом лице... страдания много... – проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая” (И.69).

Позже он попадает в дом Гаврилы Ардалионовича. Ситуация развивается там далеко

не лучшим образом. Выйдя из гостиной, он по дороге в свою комнату проходит мимо входной двери. Раздается звонок; он открывает дверь, входит Настасья Филипповна, и он, принимаемый ею за слугу, не может сладить со своим смятением и выполняет ее повеление – доложить о ней. Во время последующей беседы в гостиной Настасья Филипповна спрашивает князя, почему он оставил ее в заблуждении.

“– Я удивился, увидя вас так вдруг... – пробормотал князь.

– А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча остолбенели на месте? Что во мне такого остолбняющего?

– Ну же, ну! – продолжал гримасничать Фердыщенко¹, – да ну же! О, Господи, каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же! Пентюх же ты, князь, после этого!

– Да я бы насказал на вашем месте, – засмеялся князь Фердыщенке.

– Давеча меня ваш портрет поразил очень, – продолжал он Настасье Филипповне, – потом я с Епанчиными про вас говорил... а рано утром, еще до въезда в Петербург, на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин... И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы.

– А как же вы меня узнали, что это я?

– По портрету и...

– И еще?

– И еще потому, что такую вас именно и воображал... Я вас тоже будто видел где-то”.

“– Я ваши глаза точно где-то видел... да этого быть не может! Это я так... Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне...

– Ай да князь! – закричал Фердыщенко. – Нет, я свое: “Se non é vero – беру назад. Впрочем... впрочем, ведь это все от невинности! – прибавил он с сожалением.

Князь проговорил свои несколько фраз голосом беспокойным, прерываясь и часто переводя дух” (И. 89-90).

Сцена эта соткана из множества смысловых оттенков.

Мышкин потрясен красотой этой женщины. Он знает, что красота – качество метафизическое. В уже приводившемся выше разговоре в доме Епанчиных заходит речь о младшей дочери Аглае. Генеральша спраши-

вает Мышкина, заметна ли она.

– О да, заметна; вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть.

– И только? А свойства? – настаивала генеральша.

– Красоту трудно судить; я еще не приготовился. Красота – загадка“ (И.66).

Красота есть способ восприятия сердцем бытия, его формы и сути. В ней оно обретает могущество любви; затрагивая сердце и кровь, оно затрагивает тем самым дух. Поэтому красота и обладает такой силой. Восседающая на троне, она повелевает всем – без особых усилий, поражая воображение. С появлением же греха она получила способность совращать. Как бы играючи она одерживает верх, ибо вид реально существующей красоты непосредственно затрагивает и воспламеняет сокровеннейшую суть человека... Создается даже впечатление, что она каким-то образом избавлена от дилеммы выбора добра или зла, равнодушна к ней, проникнута загадочной безответственностью; что она дается незаслуженно, да ее и нельзя заслужить, как нельзя и обосновать ни содержанием, ни ценностью бытия. Становиться прекрасным – более того, непременно быть прекрасным – должно было бы, собственно, только то, что трудолюбиво, добросердечно и истинно. В определенном смысле, очевидно, так оно и есть – но тут в сути прекрасного проступает, тревожа нас, та несомненно существующая другая его сторона, согласно которой это вовсе и не так: красота может просвечивать в том, что зло, сумасбродно, бесчувственно или, наконец, просто глупо. Как же обстоят дела с человеком, если возможна такая личность, как Мирра Главиш в “Мартине Саландере” Келлера? Красота предстает там как автономное качество, как могучая сила, не порождаемая ни умонастроением, ни свершениями, а просто существующая. Потому-то она так прекрасна в своей свободе – и в то же время столь глубоко двусмысленна, когда бытие стало падшим. Вот что говорит об этом Дмитрий Карамазов:

“Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень не образован, но я много об этом думал. Страш-

но много тайн! Слишком много загадок угнетает на земле человека... Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит... Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?... Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей“ (Б.К.126-127).

Так рассуждает необузданный Дмитрий. Одновременно мы вспоминаем странника Макара и старца Зосиму, “нутрянную красоту” их душ и мира, увиденного их глазами, их мысленное восприятие красоты как состояния завершенности, то святое ощущение неземного, которое возникает при единении мироздания с Богом, вызванном любящим сердцем, то блаженное преобразование всего сущего, что вызывается к жизни любовью. Недаром в размышлениях старца красота не только венчает собой все и всяческие ценности, но и объемлет все то свято-истинное и доброе, чего жаждет душа народа. Вот как противоречива красота!.. Тайна ее получает еще одно преломление в натуре Мышкина, словно бы в догреховном состоянии, но зная о нем, или преломление это уводит в сферу Апокалипсиса, к эсхатологической красоте купленного мира, в то время как минувшее, “первичное”, с его страданием и злом еще трепещет...

Сразу же после его вступления “в жизнь” он сталкивается с красотой в образе Настасьи Филипповны, и она становится его роком.

Выше уже указывалось, что личность Настасьи Филипповны не легко охватить. Лишь много позже распознаешь ее истинное место: она существует под императивом категории совершенного. “В вас все совершенство”, – говорит ей князь. В его устах такая фраза, особенно если вспомнить, кому она адресована, – не комплимент. К тому же фраза эта наверняка относится не к тому в Настасье Филипповне, что воспринимается просто-напросто глазом и слухом, а к тому, что лежит мысленно глубже. И в минуту самого горько-

го отчаяния она мысленно возвращается к сказанному им: “Я, быть может, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет!” (И.143). Но именно в этом и проявляет себя категория совершенного. Женщина эта заведомо, по самой сути своей, подпадает под нее, – а именно благодаря своей натуре, которой нельзя отказать в величии. Она устроена так, что во всех своих выводах должна идти до конца. Она должна быть цельной и великой в том, что она есть, и сохранять эту цельность и величие во всем, что преподносит ей жизнь. Она должна полностью раскрыться как личность и до конца пройти предначертанный ей путь.

Насколько я могу судить, в этом с ней не может соперничать ни один из прочих персонажей Достоевского. В этом Настасья Филипповна уникальна. С этих позиций она равноценна Мышкину, тоже единственному в своем роде. Но тем самым предопределяются и альтернативы дальнейшего: это – или великое существование, купленное, правда, ценою глубоких страданий... или, что более вероятно в этом, столь далеком от завершенности, мире, уход от него... или третья возможность – гибель. Тоцкий, чьи человеческие качества известны, разрушил ее существо. Она ненавидит его, но истинным объектом ее ненависти служит вовсе не этот холодный эгоист. Вскоре в ее душе остается одно только презрение к нему, ненависть же – и в этом заявляет о себе категория завершенности – направляется на нее самое. Так и живет она в состоянии отчаяния, проникающего в сокровеннейшие глубины ее существа. Сущность же ее красоты служит свидетельством и ее причастности к сфере завершенности, и этого отчаяния.

Потому-то ее существо и затрагивает князя именно там, где восприятие красоты сочетается в нем с самой глубинной, самой могучей его способностью сопереживать чужую жизнь и ее страдания. Так пробуждается эрос глубочайшего свойства: любовь, состоящая, собственно, из одной только муки, любовь сострадания, всецело устремленная в сферу метафизического, или, точнее, религиозного.

Это – не сострадание в общепринятом

смысле, а первоначальная форма эроса, восходящая к вечности, – та любовь, которую порождает гибнущая красота, несущая на себе печать отчаяния и завершенности. Свое первое впечатление от портрета князь выражает словами:

“В этом лице... страдания много...”. И эта мысль сразу же порождает озабоченность: “Это гордое лицо, ужасно гордое (и здесь заявляет о себе категория завершенности. – Р.Г.), и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!” В них – и сознание грозящей гибели, и проникнутая заботой надежда на возможность спасения, если в этой красоте присутствует доброта.

На красоту же Аглаи Мышкин реагирует иначе, жадной личного счастья. Глубоко трогает тот трагизм, который заключен в несмелых попытках обрести это счастье, воспринимаемое самим Мышкиным как нереальное, выбраться наружу, пока его не разрушают силы предназначения и действительности...

Нетрудно ощутить, а по здравом размышлении и осознать, что подобное отношение Мышкина к Настасье Филипповне опять же символично. Сострадание, порождаемое несбывшимся предопределением – достичь совершенства – и служащее не объектом этически целенаправленной воли, а итогом столь властного веления сердца, что им определяется судьба любви, есть символ Спасителя.

Но можно сказать и больше.

Мы вспоминаем, как впервые встречаются в присутствии многих людей князь и Настасья Филипповна и как обмен репликами между Фердыщенко и Мышкиным словно бы обнаруживает в этой толпе пласты различной глубины залегания. При этом выкристаллизуются две сферы: впереди – эмпирическая действительность, за ней же – иная, сиюминутная, но отмеченная качественной, сущностной отдаленностью: та, где Мышкин и Настасья Филипповна “будто видели” уже друг друга.

Сфера эта – в вечности. Там и происходила эта “вечная” встреча².

Посреди нечаянного свидания, вполне реального и конкретного, вдруг обнажается нечто вечное. Оба затронутых им человека не столько припоминают минувшее, сколько ощущают свою причастность к такому бытию,

в котором не существует времени, но вместе с тем заключен смысл всего временного. Во встрече, протекающей во времени, проступает ядро, лежащее в иной сфере.

Настасья Филипповна “будто видела” его уже, но не помнит, где. Она не осознает, что видит не что иное, как сходство его с Христом и что при этом тот человек в ней, который жаждет спасения, узнает в нем Спасителя – тем чувством “вечного” узнавания, где вечное понимается не как мера времени и продолжительности, а как свойство исходящего от Бога бытия, воспринимаемого хоть и в потоке времени, но “вечно”... Вечная эта встреча дарована и князю. Он видит Настасью Филипповну впервые, в данный, конкретный момент, но в этой сиюминутности пробуждается то, “вечное”, улавливаемое князем благодаря его “вечному” посланничеству. Здесь перед нами – всего лишь человек, но из облика его проступают такие черты, которые складываются в бытие уже не просто человека, а Спасителя.

Выше уже шла речь о самоотверженности Мышкина, о силе его сострадания. В сцене, происходящей в доме Гаврилы Ардалионовича, происходит жестокая стычка между этим последним и его сестрой Варварой.

“У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо. Но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку.

Между ним и сестрой стоял князь.

– Полноте, довольно! – проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения.

– Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь!³ – заревел Ганя, бросив руку Вари, и освободившейся рукой, в последней степени бешенства, со всего размаха дал князю пощечину...

Князь побледнел. Станным и укоряющим взглядом поглядел он Гане в глаза; губы его дрожали и силились что-то проговорить; какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их.

– Ну, это пусть мне... а ее... все-таки не дам!.. – тихо проговорил он наконец; но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил:

– О, как вы будете стыдиться своего по-

ступка!

Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя; за ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович.

– Ничего, ничего! – бормотал князь на все стороны с тою же неподходящею улыбкой.

– И будет каяться! – закричал Рогожин, – будешь стыдиться, Ганька, что такую... овцу (он не мог приискать другого слова) оскорбил! Князь, душа ты моя, брось их, плюнь им, поедом! Узнаешь, как любит Рогожин!“ (И. 99).

В порыве естественного для него рыцарства князь вступает в минуту опасности за женщину и при всех получает пощечину. По логике чувства волнение должно было бы вылиться в элементарный гнев против обидчика. Но оскорбление ведет к тому, что на первый план выступает самая потаенная его сущность. Вначале – “это пусть мне”, то бишь смирение. Но потом он ощущает, в каком страшном состоянии находится тот, кто причинил ему зло, и, забывая о себе, переживает беду обидчика как свою собственную... Тут не идет речь о самопреодолении, на него не хватило бы времени. Не проявляет себя здесь и выдержка, достигнутая длительной муштрой, – нет **этот** голос идет из сокровеннейших глубин, и раскрепощает его не что иное, как потрясение. Опять-таки это – и не болезненное самопожертвование слабака; князь проявляет рыцарское мужество самого высокого толка. Но неожиданный поворот событий заставляет выплеснуться нечто глубоко скрытое, – то, что Рогожин характеризует так: “Будешь стыдиться, Ганька, что такую... овцу (он не мог приискать другого слова) оскорбил!” Рогожин и не подозревает, какого ранга истина заключена в его словах. Он использует образ того Агнца, Который берет на себя все грехи мира.

Возвратимся к этой сцене.

“Князь побледнел. Станным и укоряющим взглядом поглядел он Гане в глаза; губы его дрожали и силились что-то проговорить; какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их”.

О, эта неподходящая улыбка! Загадочная улыбка, упоминаемая ниже еще раз... Да будет позволено мне отступление личного характера. Долгое время Евангелие от Иоанна

оставалось для меня недоступным, ибо я не мог понять его логики. Читая, какие вопросы задавались Христу, я чаще всего не разумею, в какой мере Его слова могли, собственно, служить ответом. Когда я наталкивался на “потому что”, мне не удавалось уловить в сказанном обоснование. И вот я наткнулся на “Идиота”, на образ Мышкина. В его поведении я открыл для себя определенное сходство с Иоанновым Христом, и мне стало ясно значение “уровня” для понимания структуры той или иной ситуации. У меня создалось впечатление, что эта последняя складывается из многих слоев вещных и сюжетных отношений – соответственно рангу и доступности тех бытийно-личностных сфер, в которых действуют эти отношения. Уровни определенной ситуации могут находиться, следовательно, в самом разном “положении”: некоторые – на самом переднем плане, другие – за ними, и так далее, в направлении вдаль и вглубь. Отсюда следует, что два встретившихся человека поймут друг друга тем непосредственнее, чем ближе расположены друг к другу те уровни, на которых они существуют и с которых они вступают в беседу. Если же собеседником становится некто, находящийся на слишком глубоко “внутри” или слишком далеко “снаружи” расположенном уровне, то его “почему” и “зачем” настолько мало совпадают с аналогичными вопросами других, что его позиция может легко квалифицироваться как странная или неразумная. Если же Некто, согласно сути своего устроения и сознания, действительно находился бы на абсолютном уровне, в вечности, в воле Божией, то Он, вероятно, производил бы впечатление непостижимого. Но если бы при этом невольно ощущалось присутствие чего-то великого – чистоты, благородства, мощи, святости (список можно было бы продолжить) – что произошло бы в таком случае? Ощущение чего-то чуждого и непонятного переросло бы – если любовь и смирение не раскрепостили бы сердце – в раздражение, возмущение, ненависть. Так возник бы элементарный библейский феномен: соблазн! И действительно, облик Господа не противоречит размышлениям этого рода.

Как мне представляется, образ князя вызывает аналогичные чувства. Пребывая в той или иной конкретной ситуации, он не растворяется в ней. Речи его ситуативны, но возни-

кают на таком уровне, который расположен несравненно дальше или глубже, чем уровни других. Он предпринимает какие-то действия, вызываемые ситуацией; но действия эти не протекают в ее рамках, а лишь пересекают ее по диагонали. Поэтому он не может быть понят теми, кто находится на “передних” уровнях. Он среди них – чужой, и упомянутая выше улыбка князя недвусмысленно свидетельствует об этом. Нет ничего более выразительного и ничего более неуловимого, чем улыбка, – всю загадку человеческой природы можно было бы свести к вопросу о значении улыбки... В данном случае она говорит об опыте человека, которого нельзя мерить обычными мерками и действия которого, рождаясь в месте вечном, достигают этой комнаты, где господствует сиюминутность во всей ее незначительности. Они проделывают таким образом путь от возвышенной непреложности воли Божией к разнородности и душевной смутности этого круга людей, от чистоты смысла к бессмысленному и столь характерному для маленького человека восприятию себя всерьез – но порождает их не самоанализ, а просто сознание того, что так надо.

Что значит в евангельском смысле “соблазн”? Что в мир явились добро и истина в самом чистом и полном своем выражении и что они открылись миру, но люди – из-за своей греховности, или неспособности воспринять посланное, или ослепления, – не подпустили их к себе? Нет. В действительности дело обстояло сложнее. Хоть Божия истина и вечная любовь и обрели в Христе реальное выражение, но “во образе раба”, в речах и действиях человека. Поэтому они вызывают не только то возмущение, которое таится в человеке уже само по себе как реакция на требования Бога, и не только раздражение против этого конкретного существа, претендующего на такое величие, – к этому присовокупляется еще и то, что свет Божий якобы меркнет вследствие земной конкретизации и сужения свободного, бесконечного смысла Божия конкретно-историческими рамками данного времени и места и что невольно возникает побуждение соблюсти этот смысл во всем его абсолютном значении и во всей свободе. Это-то побуждение и вступает в союз с упомянутым выше возмущением, причем это последнее ищет в нем

свое оправдание. Именно в том, что неприятие вести Божией происходит по веским причинам, что отклонение ценности высшего порядка обосновывается подлинными, хоть и уступающими ей ценностями, и состоит соблазн.

Образ соблазна проходит красной нитью по всему роману. Снова и снова группируются люди вокруг князя. Он притягивает их как магнит. В его присутствии им хорошо, они встречают понимание и проявляют, вдохновленные им, лучшие свои качества. Они сталкиваются с сочувствием, не знающим усталости, с доверием, не ведающим разочарований, с неизменной готовностью прийти на помощь; они ощущают присутствие какой-то тайны, затрагивающей самую сокровенную их суть – и тем не менее каждую минуту с их губ срывается слово “идиот”! Разве это не странно? Вот собирается большое общество; очень скоро Мышкин, вовсе не желая этого, оказывается в центре внимания. Его выслушивают – и не могут не признать, что его слова исполнены значения, хоть сам он никогда не подчеркивает этого⁴; беседа идет своим чередом, но чуть позже на него выплескивается все таившееся в людях раздражение, и он оказывается неправ. Все убеждены, что он неправ, в каком-то смысле и он сам; во всяком случае он – без малейшей позы – принимает вину на себя, ибо иначе и быть не может. Возникает впечатление, что его присутствие заставляет проявляться скрывающееся повсюду зло и побуждает людские сердца обнаруживать свою суть.

И как же все его существование служит оправданием соблазна! Ведь в действиях его действительно проявляется “идиотизм”! Он разочаровывает всех, он никому не может помочь в беде, он сам переживает крах. И через несколько месяцев он вновь оказывается там, откуда явился, – во мгле. Выше уже отмечалось, что по форме этот роман напоминает самум. Это – не линия, не гармонически развертывающаяся ткань, а винтообразный столб, который подчиняет себе, кружит, ломает, заглатывает. Но это существование требует именно такой формы, формы элементарного возмущения, которым мир на него реагирует и который можно назвать пароксизмом соблазна.

Каждой своей страницей Евангелие рассказывает нам о том, как глубоко связан со-

блазн с существованием Христа. Когда к Нему приходят ученики Крестителя и говорят: “Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, или другого ожидать нам?”, Он отвечает: “Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне!” И так, на вопрос Он отвечает мессианским словом пророка, истинность которого подтверждается деяниями и знамениями. Но тут же Он прибавляет: “Блажен, кто не соблазнится о Мне!” Иными словами, такой человек велик и должен быть восславлен, ибо опасность соблазна неопровержима и более чем серьезна, и избежать ее трудно, ибо она заключена в самом существовании Христа. В Нем Самом, в Его человеческом бытии можно почерпнуть “доводы” против того, что Он – Сын Божий. Именно то, что становится возможным силою любви Божией – принятие облика раба, – свидетельствует против ее сущностного и личностного воплощения: “Не Сын ли Он плотника?” И действительно, Его бытие постоянно, снова и снова вызывает к жизни соблазн, пока, наконец, не приводится в движение весь механизм правопорядка, чтобы наказать Его за притязание быть Тем, Кто Он есть. Против Него выдвигается столько “доводов”, что Его приемлют лишь “малые и неразумные”, не ведающие ничего о доводах, и “мытари и блудницы”, защищенные от возможности выносить приговоры тем приговором со стороны мудрых и усердных, лояльных и почтенных, объектом которого служат они сами...

Насколько чуждо это бытие всему мирскому, можно видеть из той сцены, которой заканчивается первая часть романа.

После разрыва с Тоцким Настасья Филипповна несколько лет живет уединенно. Но вот она оказывается перед выбором: выйти ли замуж за Гаврилу Ардалионовича и отдать себя тем самым в распоряжение генерала Епанчина или последовать за Рогожиным, что означало бы для нее броситься в пропасть. Мышкин понимает ее положение. Он просит ее руки и упоминает при этом, что его ждет большое наследство и что он будет богат:

– Настасья Филипповна, – сказал князь тихо и как бы с состраданием, – я вам давеча говорил, что за честь приму ваше согласие и

что вы мне честь делаете, а не я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слышал, тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что я... понимаю, в чем честь, и уверен, что правду сказал”.

Для общества это – сенсация. Мы ощущаем, как посреди всей этой толпы возникает одиночество двух людей, стоящих друг против друга. Каждый из них нутром чувствует другого. Они отдалены от всех остальных, и на фоне окружающего их плебейства это происходит с беспощадной ясностью:

“Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть, вы уже до того несчастны, что и действительно виновно себя считаете. За вами нужно много ходить, Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча ваш портрет увидел, и точно я знакомое лицо узнал. Мне тотчас показалось, что вы как будто уже знали меня... Я... я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна, – заключил вдруг князь, как бы вдруг опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими людьми он это говорит” (И.142).

Все понимают, что Мышкин – неординарный человек: он знает то, что неведомо другим, властен над душами, и его присутствие преображает людей... Но та, которая понимает это глубже всех – Настасья Филипповна, – произносит нечто знаменательное, причем именно в тот момент, когда она, постигая всей силой боли и отчаяния его истинную суть, потому-то от него и отказывается, что не считает себя достойной носителя такой сути: “Прощай, князь, в первый раз человека видела!”

Все впечатляющее своеобразие Мышкина сведено здесь к сжатой формуле: он – “человек”. Самое экстраординарное высказывание о нем гласит, что он есть человек, – но ведь на это претендуют, это утверждают все, кто так себя именуется... И мы невольно думаем о том, что Тот, Кто был Сыном Бога, называл Себя “Сыном Человеческим”. Позиции человека настолько потеряны, а в первоначальном замысле его сути столько божественного величия, что можно утверждать: человечность в ее чистом виде по плечу одному лишь Богу. Быть человеком в полном смысле слова совсем не так уж естественно, это отнюдь не само собой разумеющийся исходный пункт. Человеческими силами тут не обойтись. “Гу-

манный человек” – понятие из сферы идеологии. Собственно человек может вести свое начало только от Бога. “Сын Божий” и “Сын Человеческий” обозначает в Новом завете те две формы, в которых находит свое выражение бытие Спасителя.

До сих пор мы занимались только одним персонажем из окружения Мышкина – Настасьей Филипповной, – видимо, наиболее глубоким олицетворением “*magna peccatrix*” Евангелия во всей литературе. Но есть еще и другой: тот, кто любит Настасью так, будто сама природа участвует в этом – бессловесность земли, и огнедышащая бездонность вулкана, и неудержимость урагана. Тот, кто появляется уже в самом начале романа, кто едет в Петербург в одном вагоне с возвращающимся на родину Мышкиным, кто относится к нему с издевкой – и в то же время почти как к равному, кто странным образом ощущает связь с ним, будучи затронут его сутью, – Парфен Семенович Рогожин.

Это – своеобразный, страшный и трогательный человек. Мне кажется, что в мире Достоевского нет родственной ему фигуры. Создается впечатление, что он выкарабкался из земли только наполовину. Невольно приходят на ум неоконченные скульптуры Микеланджело, где человеческие тела тщетно пытаются высвободиться из объятий камня.

Рогожин умен, но ум его спеленут. Он сам говорит, что “ничему никогда не обучался”. Он выглядит как “немытый мужик” со своими нечистыми ногтями и грубыми смазными сапогами, с массивным бриллиантовым перстнем на грязном пальце правой руки и немыслимой бриллиантовой булавкой на галстуке.

Но в нем заложено и другое, бескомпромиссное начало. Он родом из мрачной семьи. Его отец принадлежал к секте скопцов и жил в огромном, темном доме с тяжелой мебелью и нескончаемой цепочкой комнат и коридоров. Он полностью поработил свою тихую жену – мы знакомимся с трогательной маленькой старушкой, уже потерявшей рассудок, но излучающей святость, когда Парфен приводит к ней своего друга.

Старик-отец ворочал делами, был безжалостным ростовщиком и скопил кучу денег. Его сыну Парфену предстоит услышать от Настасьи Филипповны, что в нем продолжает жить его отец и что ему тоже грозит опас-

ность испытать на себе темную власть денег. И это действительно так; но вместе с тем тот же Парфен способен вышвыривать сотни тысяч в угоду своей страсти. Он приходит в восторг, когда Настасья Филипповна швыряет в огонь пачку банкнот; для него это значит поступить "по-нашему", и он называет ее королевой.

Он весь во власти земных сил, но любовь могла бы раскрепостить его, и тогда ему был бы по плечу любой мужественный и благородный поступок. И любовь действительно приходит; при виде Настасьи она поражает его как молния, сотрясает как землетрясение. Вспыхнувшему пожару суждено гореть и не гаснуть. Эта любовь хочет завладеть всем безраздельно. Она так же лишена свободы, так же отдана во власть земных сил, так же нетерпима и агрессивна. В начале романа, когда Мышкин разглядывает портрет Настасьи Филипповны, Гаврила неожиданно спрашивает его, женился ли бы на ней Рогожин. Мышкин отвечает: "Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее".

Рогожин любит Настасью любовью, исполненной муки. Страсть эта настолько занята собой, настолько требовательна, что она не в состоянии выносить собственного насилия и обращается против себя самой. Она не может не стать мукой для того, кто выступает как ее объект, ибо не оставляет ему ничего – ни личности, ни нутра, ни свободы, ни покоя. Ни один человек не может жить под игом такой страсти, особенно если его зовут Настасья Филипповна. Он во что бы то ни стало бунтует, и тогда она уничтожает его.

К тому же Рогожин знает, что он всего лишь "мужик". Он ощущает, что отдан во власть земных сил. Быть может, в нем есть даже нечто "подлое", – то, что выражает его дерзкая улыбка. Недаром тот, кто видит ее, в изумлении переводит взгляд на его лоб, отличающийся благородством формы. В сущности, он вовсе не верит, что Настасья может любить его, что предполагает муки ревности с самого начала, – ревности столь же бессловесной, ожесточенной и вездесущей, как и его любовь.

В любви Рогожина таится смерть. Если рассуждать по-человечески, то такая любовь не может не нести смерти той женщине, которая ее вызывает. И это станет тогда его соб-

ственной смертью.

Этот человек чувствует суть Мышкина. Уже при первом свидании между ними протягивается ниточка. Когда князь вступает за сестру Гаврилы Ардалионовича и принимает на себя предназначенную ей оплеуху, Рогожин произносит вещие слова: "Будешь стыдиться, Ганька, что такую... овцу (он не мог приискать другого слова) оскорбил! Князь, душа ты моя, брось их, плюнь им, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!"

Нутром он распознает Мышкина. Они связаны тесными узами, – но так, как может быть связан выходец из подземного царства с существом из царства света. Им обоим нельзя отказать в величии, но место обитания одного из них – земля, другого – свет. Рогожин видит, как Настасья Филипповна любит его друга: всеми фибрами души. Он не может не понимать, что к нему, Рогожину, ее гонит отчаяние, порожаемое сознанием, что она не может принадлежать князю. Так ищет смерти человек, отчаянию которого нет предела, нет исхода. Она любит и его, но может ли он радоваться этому?

С этим человеком Мышкин связан не менее тесно. Настасья Филипповна подпадает под категорию завершенности, но она не спасена. И так как она – женщина, то должна быть красива – той красотой, которая пробуждает мучительную любовь сострадания. Неискупленность Рогожина проявляется в нем, мужчине, как сила могучая, способная к любым проявлениям мужества и доброты, но в то же время и тупая, скованная, заземленная, несущая смерть любимому существу своей любовью.

Мне кажется, что на свете нет слов, исполненных такой мрачной, такой пылающей страсти, какая ощущается в рассказе Рогожина об его отношениях с Настасьей Филипповной, который выслушивает в его темном доме Мышкин...

Рогожин хорошо знает Мышкина и любит его. Но он служит и объектом его издевок, его ревности, и не только потому, что ему принадлежит любовь Настасьи Филипповны, но и потому, что Мышкин стоит в потоке света, сам же он – в темноте.

То, что сгущается в глубине, находит себе выражение в символе ножа. Это – тот садовый нож, который, был куплен Рогожиным "просто так", который служит закладкой в то-

ме истории России, читать которую посоветовала ему Настасья – в тот единственный час, когда она проявила к нему уважение, разговаривала с ним по-дружески, и он смог почувствовать себя “человеком”... тот нож, который ищет князь в витринах магазинов, томимый подсознательным, тяжелым предчувствием... с которым Рогожин ждет князя, навестившего вопреки своему обещанию Настасью... которым он в конце концов сам убьет ее, после того как ситуация накалится в такой мере, что для него больше не будет выхода.

К этому примыкает загадочное искушение Мышкина и его вина.

Через всю книгу проходит мрачный лейт-мотив смерти. Еще в самом начале романа, в приемной генерала, Мышкин размышляет о казнях и о том, что чувствует человек в последние мгновения перед неотвратимым концом. Позже, в беседе с генеральшей и ее дочерьми, он снова говорит об этом. Существует мнение, что эта история не вписывается органично в ткань повествования, что Достоевский просто хотел рассказать о том, что испытал он сам в страшные минуты перед исполнением приговора. Но это не так; задача заключалась скорее в том, чтобы рядом с князем с самого начала лепки его образа встал образ смерти. Место Мышкина – с того края жизни, который соседствует со смертью, и в дальнейшем станет понятно, что означает эта смерть.

Бытие такого рода подвергается множеству искушений. Последнее из них исходит от самого “края”, – соблазн пропасти. В чем состояло искушение, когда сатана повел Иисуса на зубчатую башню храма и сказал Ему: “Бросься вниз”? Наверняка не в том, чтобы продемонстрировать людям нечто невиданное! Сатана не столь примитивен и то же можно сказать о его желаниях. Это искушение могло быть адресовано только существу высшего порядка; сама пропасть выступала в этом качестве, и слово об эскорте ангелов должно завуалировать это обстоятельство... Образ того же искушения возникает в странном, подспудном варианте снова, когда Мышкин ищет нож – с ощущением, что он уступает темной силе, и вначале подсознательно, а потом все более отчетливо понимая, что он делает... когда он затем навещает Настасью Филипповну вопреки своему обещанию больше не ходить к ней... и, в сущности, он ищет встречи вовсе не с ней,

а с тем, что неизбежно появится, если он к ней пойдет, – с ножом Рогожина... Но искушение держится в тени, оно все еще прячется за жалостью к Настасье...

Мышкин терпит поражение. Он становится виноватым. Это и приводит к тому страшному следствию, что Рогожин, с которым он обменялся крестами, поднимает против него нож. Вина князя сокрыта глубоко. Это всего лишь недостаток бдительности и твердости, – но именно там, где ему ни при каких обстоятельствах не должно быть места: в самом сердце его посланничества... Но это “падение” Мышкина, его несостоятельность, проявляющаяся в том, в чем Христос остается предельно бдительным и непогрешимым – действительно ли они свидетельствуют, как мне представляется, о набожности Достоевского, или это для меня не более чем субъективная идея, призванная служить подпоркой заранее возведенной конструкции? Действительно ли они доказывают, что священный трепет мастера не позволил ему переступить границу и что исполненная высшей святости история, символически звучащая в жизни этого человека, распознается здесь именно по признаку ее расхождения с подлинной? Не угадывается ли эта последняя за поражением, заменившим собой победу и воздающим хвалу Богу?

А теперь нам осталось поговорить о самом запутанном узле в ткани этой жизни.

Мышкин навещает своего друга. Тот рассказывает ему о мучительных отношениях с Настасьей, и вся тяжесть его переживаний становится ощутимой, когда в конце их свидания Рогожин спрашивает:

– Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич?

– Сам как ты думаешь? – переспросил князь, грустно смотря на Рогожина.

– Да разве я думаю! – вырвалось у того. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске“ (И.177)

За этим следует многое... Возникает мрачный образ отца Рогожина, самая дурная возможность для сына, и чувствуешь, что этому последнему не будет суждено прорваться к свету... Он ведет князя к своей старой матери, рассудок которой помрачен, но душа свята. Он уже приводил к ней Настасью под благословение. Теперь же он подводит к ней друга, словно хочет оградить его от неизбежного. Наконец они направляются к выходу че-

рез бесчисленные комнаты и коридоры. Они проходят мимо картины Ганса Гольбейна, изображающей снятие с креста и передающей весь невыносимый ужас распятия, когда леденящее душу уничтожение поднимает руку на самое святое. Тут-то и следует странный диалог:

– А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет? – вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов.

– Как ты странно спрашиваешь и... глядишь! – заметил князь невольно.

– А на эту картину я люблю смотреть, – пробормотал, помолчав, Рогожин, точно опять забыв свой вопрос.

– На эту картину! – вскричал князь, под впечатлением внезапной мысли, – на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!

– Пропадает и то, – неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. Они дошли уже до самой входной двери.

– Как? – остановился вдруг князь, – да что ты! Я почти шутил, а ты так серьезно! И к чему ты спросил: верую ли я в Бога?

– Да ничего, так. Я и прежде хотел спросить... “(И.182).

Трактовать это место нелегко: не знаешь, как передать словами свои ощущения. Рогожин “давно” хотел спросить друга, верует ли тот в Бога... Не странно ли это? Как можно адресовать этому человеку, в котором ощущается присутствие сильнейшего религиозного духа, вопрос такого рода? И не еще ли более странно то, как Мышкин реагирует на этот вопрос? Как он в сущности оставляет его без ответа и лишь произносит полные значения слова о “религиозном чувстве”, а потом рассказывает две удивительные истории, мораль которых сводится к тому, что религиозность не имеет ничего общего с теоретической доктриной, более того, с этическими установками? Что значит все это? Скажу просто, какую видится мне сокровенная суть внутренней позиции князя. В этом бытии, вокруг него зримо присутствует Бог, и этим присутствием оно определяется. Это не подлежит сомнению. Но если “веровать в Бога” означает то, что имеем в виду мы, когда говорим, что “веруем в Бога”, – тогда Мышкин, видимо, не “верует”. “Веровать” может, очевидно, лишь тот, кто в каком-то смысле “противосто-

ит” Богу, а не продолжает Его бытие своим. Здесь же ощущается нечто в этом роде. При анализе Мышкина создается впечатление, что он не противостоит Богу, а возникает из него, не говорит о Боге, а излучает Его. Проблема веры состоит здесь, видимо, не в том, как прийти к Богу или укрепиться в Нем, а в том, как Мышкин выносит, возвещает, осуществляет свое посланничество, ведущее его от Бога в мир иной сути, мир темный и ожесточившийся.

А теперь спросим себя: какова была бы реакция Христа, – того Христа, Который встает перед нами со страниц Евангелия от Иоанна, – на вопрос, верует ли Он в Бога? Вероятно – и да простит Он нам смелость подобного предположения, ибо мы никоим образом не преступаем при этом границы богобоязненного, – Он удивленно взглянул бы на вопрошающего: о чем он?.. верует ли в Бога Сын Его?.. Мне кажется, Достоевский создает оттиск этого образа, предпринимает попытку в каком-то смысле воссоздать то неповторимое, что заключено в самом факте существования Богочеловека. Разумеется, не “прямым текстом”, раз навсегда отложившимся в словах тех, кто “был при этом с самого начала”; скорее символически, со смещением в план чисто-человеческого, воссиянием Божественного сквозь бытие, божественному хоть и неравнозначное (сам Мышкин причастен к нему лишь в той мере, в какой христианин вправе сказать о себе, что суть его есть Христос), но призванное в конечном итоге напомнить людям о Христе, поведать о Господе своей личностью и судьбой, своей силой и немощью, верностью своему предназначению – и даже своей несостоятельностью. Этим конечно же сказано, что такое возможно в действительности. Речь идет о поэтической возможности, о смысле художественного образа.

Сказанное выше может служить предварительным ответом на вопрос о сути образа Мышкина: он олицетворяет Христа.

Это, однако, вовсе не означает, что Достоевский предполагал возможность повторения Христа. Тут нет ни признака “растворения Христа” в каком бы то ни было смысле. Им – Богочеловеком – может быть, как и для христианина-Достоевского, воистину лишь Он Сам, Он один, и только единожды, и на все времена. Никогда человек, если он не без-

умец и не богохульник, не может и помыслить о том, чтобы заявить свои права на это бытие. Я хотел бы особо подчеркнуть это, ибо в противном случае все будет не только разрушено, но и низведено до уровня банальности. Мышкин ни сам Богочеловек, ни тем более некий “второй Христос”. Здесь речь идет о человеке по имени Лев Николаевич Мышкин. Его бытие складывается из чисто человеческих компонентов: тела и души, радости и горя, нужды и получения наследства, встречи и гибели. Но из его человеческого бытия проступают черты другого, сверхчеловеческого, – бытия Богочеловека.

Выше мы уже говорили о способности Достоевского создавать человеческие образы, из которых выступают внечеловеческие существа. Здесь они, как представляется, предпринимают невероятную попытку – причем я не берусь судить о том, в какой мере она была осознана – не рассказать прямо и непосредственно о жизни Христа, или, скажем, поведать о том, как некто следует за ним по зову веры, а поместить черты Богочеловека в человеческую личность. Но переводимо ли Богочеловеческое бытие, каким оно встает перед нами со страниц Евангелий (в частности, от Иоанна), на язык человеческой жизни? Может ли оно быть ограничено ее пределами, не выливаясь в издевку над этим человеком и не развенчивая Сына Божия? Если наше толкование не ошибочно, то можно считать, что Достоевскому было дано решить эту задачу.

С точки зрения психологии Мышкин, вероятно, нереален. Не исключено, что такого человека вообще не может существовать⁵.

Тем не менее образ этот исполнен глубокого смысла в каждом своем проявлении. Его слышишь, видишь, чувствуешь – и вдруг тебе открываются глубинные связи, а в них – каждая деталь, из бытия человека проступает образ Христа.

Надо всем этим можно было бы, видимо, задуматься и спросить себя, не означают ли те черты, символическую функцию которых мы тщимся доказать, на самом деле нечто совсем другое?

Так, мы уже отмечали, что эпилепсия может выступать не только в связи с над-историческими моментами, но и как признак бегства личности от самостоятельности и ответственности, или что участие в жизни детей

свидетельствует не только о свято-невинном существовании, но и об инфантильности... Такая восприимчивость к страданиям другого, какую она предстает в романе, может просто-напросто быть проявлением болезненной чувствительности... Что же до сострадания, то Мышкина можно упрекнуть в том, что оно никогда не выливается в действенную помощь. Если же возразить на это, что этот человек слишком сильно ощущает безысходность бытия вообще, чтобы предпринимать что-то конкретное, и что ему не остается поэтому ничего иного, как принимать все на себя и страдать за всех, то следующий аргумент – что сочувствие это, в сущности, не более чем пассивность – было бы трудно опровергнуть, ибо подлинная сила вызывает жизнь на единорство, а настоящее дело всегда вмещает в себя целое... Позиции всепонимания, неизменно серьезного восприятия, неосуждения можно противопоставить, что он избегает того, с чего как раз и должна начинаться духовно решающая и созидательная деятельность: различения добра и зла в путанице бытия...

Тот факт, что Мышкин не вписывается в ту или иную ситуацию, что его слова и поступки остаются ей чуждыми, можно было бы отнести за счет недостаточной определенности его существа, расплывающегося под руками, за счет неоднозначности его слов и оценок...

Совершенно неясен ответ на вопрос, не происходит ли поразительная убежденность в том, что ты “уже видел” другого, из особой мобильности фантазии. Известно, что внутренне подвижные натуры склонны утверждать, будто они заранее предвидели появление такой-то идеи или достижение успеха в таком-то начинании... Что же касается, наконец, ссылки на “соблазн”, то это, разумеется, чрезвычайно обоюдоострая вещь, и на тот довод, что с помощью этого аргумента можно доказать все, нелегко найти возражение. Попытаться решать проблемы бытия, исходя из схемы соблазна, очень опасно. Она грозит уничтожить любую возможность объективного суждения, ибо с нею в мышление вводится понятие “*quia absurdum*”. Это имеет определенный смысл для некоторых узких, периферийных зон бытия при наличии действительной способности отделять плевелы от злаков; в целом же судить становится в этом случае немислимо...

Все это – и многое другое – можно было

бы сказать с полным правом. Действительно, образ Мышкина обескураживает своей неоднозначностью. *Ultima ratio* толкования состоит здесь в том, какое впечатление возникнет в конечном итоге у читателя и останется ли оно достаточно сильным и продолжительным, чтобы противостоять постоянно заявляющим о себе противоположным доводам. Если же – в свете данного здесь толкования – единение с самим собой достигнуто, то символ действительно обретает новое, определяющее качество.

Существо и позиция Мышкина лишены определенности в столь высокой степени, что допускают самые противоречивые оценки. Можно было бы предположить, что сам роман каким-то образом подсказывает аутентичное толкование: посредством все более четко вырисовывающегося характера главного героя, претерпевающего определенное развитие и вершащего свою судьбу; посредством действий, раскрывающих его подлинную суть; посредством его влияния на других; посредством всех тех эмоциональных или символических моментов, которые используются в художественном произведении, чтобы подсказать читателю смысл того, о чем не говорится “прямым текстом”. Однако в “Идиоте” Достоевский сознательно избегает этого. образу князя нигде не дается прямое толкование, ни разу не выносятся недвусмысленный приговор. Проявления его личности лишены четких очертаний – как в некий ключевой момент повествования, так и в целом. Его судьба не определяет его личности. Да он и вообще не служит объектом обобщающего взгляда и объективной оценки. И не только потому, что мы становимся свидетелями всего лишь нескольких месяцев его жизни, но и потому, что эта неподверженность оценкам выступает как существенная черта его бытия. Говоря языком Киркегора, мы наблюдаем его исключительно в единовременности. Ни один из других персонажей романа не занимает по отношению к нему определенной позиции, равно как и читатель, дающий себе труд действительно вчитаться в него. Поэтому религиозное посланничество этого образа, столь расплывчатого в своей неоднозначности, воспринимается не в виде объективной данности, а лишь как решение с известной степенью риска. Когда-нибудь трактовка прояснится и станет очевидным, действительно ли

жизнь Мышкина была призвана служить символом или он просто был человеком декадентского склада, – когда его уже давно не будет на свете, когда исходившие от него импульсы проявят себя целиком и полностью, а ткань причин и следствий будет развернута до конца; когда у всех участников будет позади достаточно времени, чтобы понять его и свое отношение к нему, ибо только тогда может быть принято окончательное решение, продиктованное раскаянием или ожесточением. Сам же роман с начала и до конца все еще остается вне этого толкования. В нем Мышкин предстает перед нами лишь в стадии без-оценочности и противоречивости. Отношение к нему читателя определяется ситуацией единовременности. Если же он реализует это отношение, избегнув соблазна эстетически-объективного восприятия этого образа и поддавшись исходящему от него ощущению тревоги, то оно обретет черты той связи, которая, по-видимому, существовала между Христом и теми, кто был Ему единовременен, в дни перед Его смертью, Воскресением и нисхождением Святого Духа, когда верить было так бесконечно трудно. Но если бы народ нашел в себе к этому силы, то этой вере достало бы мощи, чтобы открыть путь исполнению пророчества Исайи – полному и всепобеждающему приходу Царства Божия...

Вероятно, и в самом деле необходимо нечто вроде осознанного выбора, чтобы дать образу Мышкина окончательное толкование. Если не довольствоваться объективистской позицией психологического или эстетического всеприятия, простой констатацией неоднозначности, если руководствоваться желанием подойти к роману так, как того требует его особый смысл, то по отношению к Мышкину надо решиться в пользу или против символического значения его бытия, даже если решение это будет настолько неверным, что послужит поводом к издевкам. А повод был бы действительно пренеприятнейшего свойства: перед форумом, объективно учитывающим все филологические, психологические и религиозные факторы, быть обвиненным в сентиментальном подходе к декадентствующей или психопатической личности вследствие провозглашения ее носительницей символики бытия Христа!

Тем самым характеризуется, однако, как мне кажется, и специфика этого произведе-

ния: по отношению к нему невозможно оставаться на позициях эстетического объективизма. И не только в том смысле, в каком это применимо ко всем подлинно религиозным произведениям, раскрывающим свою суть лишь перед теми, кто включает их в свое бытие, но и в другом отношении: “конечное содержание” здесь вовсе не присутствует объективно, а проступает только в процессе, так сказать, усвоения материала – при том что здесь, как и при любом решении религиозного плана, есть риск сделать выбор в пользу бесмысленного.

Теперь проясняется и значение понятия “символ” на этом уровне. Любое событие в жизни этого человека, равно как и вся его жизнь в целом, значимо вначале исключительно в собственных пределах. При отсутствии желания можно и не переключаться с этой данности на другую сферу, воспринимая это бытие как таковое – очень впечатляющее, трагическое и в конечном итоге таинственное. Если же занять предлагаемую нами позицию, то каждый элемент возведенной в романе постройки будет отсылать нас к тому, что скрыто от глаз. При этом не чувствуешь умысла и не ощущаешь расхождения существенного и побочного, выражаемого и средства выражения; скорее можно считать, что одно органически переходит в другое. Образ бытия Христа переведен в план этого человеческого бытия – что, очевидно, и в самом деле может произойти лишь таким образом, чтобы с чисто человеческих позиций остался привкус невозможного. Но это невозможное не было бы равнозначно, скажем, лживой психологии, фантастике, идеалистической сверхчеловечности или тому подобным вещам, а это было бы исполнено смысла. Это и был бы основополагающий символ. Сам способ получения этой “человеческой невозможности” как раз и стал бы именно тем моментом, который завершил бы формирование символа, соотнеся его с Христом. То, что у самого Христа означает непостижимый, вызывающий преклонение выход за пределы человеческого, было бы переведено здесь в контекст того, что невозможно для человека, но тем самым и обретает “второй план”...

Как бы то ни было, прямой символики тут нет. Так, эпилепсия и вхождение в мир детей действительно означают сами по себе все что угодно, кроме Неба (по Иоанну – того, что

“наверху”). Если же рассматривать их в контексте целого и исходя из сути этого человека, то они каким-то образом напоминают о той недоступной сфере близости к Богу, из которой пришел Спаситель. Напоминают не лирически, или идеалистически, или фантастически, или как-нибудь еще, а конкретно, своим включением в план бытия именно этого человека.

Но если нечто подобное мыслимо, то оно дает возможность глубокой трактовки того, что представляет собой сам человек: не что-то окончательно определенное, самодостаточно-гуманное, а скорее потенцию в высокой степени, открытую неисчислимым возможностям и лежащую в длани Божией.

Сюжет романа движется к катастрофе. Мышкин посещает друга в его мрачном доме. После странной их беседы тот ведет его в одну из комнат и показывает ему Настасью Филипповну, убитую Рогожиным. Она лежит на постели. Все окутано страшной мглой, на всем – невыносимая тяжесть...

Рогожин готовит нечто вроде ложа. “Кое-как постель устроилась; он подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел к постели...” Князя он укладывает на левую, лучшую подушку, в сам протягивается с правой стороны. И тут кажется, что земля стягивает его с возвышения к себе... Мышкин чувствует, как та мгла, из которой он тогда вырвался, вновь смыкается над ним... В словах, которыми они обмениваются, все явственнее звучит тема распада. Далее следует:

“Когда Рогожин затих (а он вдруг затих), князь нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал; время шло, начало светать. Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно; начинал вскрикивать и смеяться; князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки... больше он ничего не мог сделать! Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечной тоской. Между тем совсем рассвело; наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в

бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уже и не слышал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них...

По крайней мере, когда, уже после многих часов, отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год своего лечения в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: "Идиот!" (И.506-507).

Невольно вспоминаются слова Ницше, из которых следует, что можно испугаться при виде спящего друга. Очевидно, это означает, что во сне, когда человек перестает сознательно владеть собой, высвобождается истинная суть души, оттесняемая на задний план при бодрствовании; поэтому не исключено, что кто-то вдруг увидит, как в действительности выглядит тот, кого он, казалось бы, хорошо знал...

Это высвобождение внутренней сути в результате прекращения контроля, характерного для бодрствующе-сознательного состояния, заходит, видимо, при определенных предпосылках еще гораздо дальше, если речь идет о сумасшедшем. Если бы к этому последнему пришел человек, к которому тот испытывает неприязнь или ненависть, то он отшатнулся бы в испуге. Что касается Рогожина, лежащего рядом с Мышкиным, то он убил Настасью Филипповну. Он заносил нож даже над своим другом. Он разрушил жизнь князя. Мы узрели бы величие, христианское величие в осознанном преодолении Мышкиным ненависти или страха перед этим ужасным человеком, но сочли бы само собой разумеющимся присутствие того, что ему пришлось бы преодолеть. Однако если бы оно действительно присутствовало, если бы хоть какая-то неприязнь, какой-то страх жили в сердце – подчеркнем

еще раз: в подсознании князя – то с той минуты, когда умолкнувший рассудок перестает контролировать сознание, все аффекты должны были бы прорваться наружу со стихийной силой. Ему надлежало бы с криком ужаса отшатнуться от этого монстра. Но мы читаем – и верим этим словам, потому что они истинны и им нельзя не верить, – что в своем безумии, уже не контролируемом разумом, он прижимается щекой к неподвижному лицу Рогожина и что каждый раз, когда убийца вскрикивает в беспамятстве, он гладит его дрожащею рукою по волосам и щекам, чтобы приласкать и успокоить.

В этом – больше, чем только человеческое. Перед нами – человек, его лицо, его руки, его сердце; но из всего этого встает образ Спасителя. Образ той любви, которая бескорыстна вплоть до самой глубинной своей сути, не контролируемой никаким сознанием и не доступной никакой воле. Образ смерти Господа и его последних слов: "Отец, прости им, ибо не ведают, что творят".

Так из распада, готового, казалось бы, все поглотить, встает не передаваемое словами преодоление. Я думаю, что ни одно из тех произведений мировой литературы, которые воспевают человеческий подвиг, не может сравниться с этим в показе силы преодоления, – а ведь здесь она возникает из гибели. Божия мощь и победа любви предстают здесь в обстоятельствах ужасающей беспомощности человека.

Нас могут спросить: да кто же здесь спасен? Быть может, Настасья Филипповна? Или Рогожин? Или Аглая и все прочие? – Никто из них! В том-то и состоит совершенство этого символа, что он далек от подражания Божественного. Роман не кончается ни "обращением", ни уходом в себя. Но на первый план выступает нечто большее. Тот, кто раскрывается ему навстречу, приобщается к нескончаемой избавительной мощи Божией, действующей по ту сторону или внутри того, что нам доступно (а быть может, и сквозь него). Эта гибель содержит обетование для Рогожина и Настасьи Филипповны, для этих двух людей, которым психология и прочие "мироведческие" науки отказывают в праве на существование. Здесь явственно прослеживается избавление от безысходности – равно как и то, что не возможное людям – возможно Богу.

Послесловие

После того как читатель прошел вместе со мной весь путь, который попыталась проложить через религиозный мир Достоевского эта аналитическая книга, я считаю своим долгом сделать несколько замечаний относительно самого этого пути.

Вполне возможно, что читатель уже выдвинул следующее возражение: представленная здесь трактовка действительно вносит ясность, но только за счет рационализации истинной сути.

Действительно, такая опасность существует. Как только цель анализа выходит за рамки простого понимания и концентрируется на теологической проблеме, возникает угроза подмены своеобразия и развития конкретного образа умозрительной конструкцией. Опасность эта, однако, тем больше, чем тоньше метод анализа. Так, ученый типа Паскаля с его скрупулезным пониманием своеобразия живой материи и стремлением выразить его отточенной понятийной техникой мог бы стать источником гораздо более радикального рационализма, чем какой-нибудь Юм или Беркли, для которых это своеобразие – всего лишь конфигурация механических процессов. Ибо живому не стоит труда дистанцироваться от них, невозмутимо продолжая проявлять свою суть по соседству с их топорными конструкциями, в то время как исследователь первого типа проник бы своим *“esprit de finesse”* в его сокрытые глубины, используя для этой цели метод, изощренность которого привела бы, надо думать, к его торжеству над нетронутой целостностью.

В наши дни рационализм теряет свой прежний авторитет, все более явно уступая духовное превосходство иррациональности и интуиции. Поэтому важно более четко различать следующее: угрозу целостности познания живого создает вовсе не намерение использовать применительно к нему четкие понятийные категории, а лишь определенные предпосылки к этому. Любое познание, которое хочет стать наукой или хотя бы приблизиться к ней, рационально; характер же его определяется тем, как решен – задолго до конкретных усилий мысли – вопрос, суждено ли сущему и его познанию раствориться в рациональном.

Лишь тот взгляд, согласно которому истин-

но одно только рациональное познание, а истинное познание – это только рационально познаваемая действительность, служит угрозой содержанию и достоинству жизни, как это и выявилось в конце прошлого столетия. Напротив, суть нынешнего состояния познания состоит, как представляется, в том, что характер внутренних “полей напряжения” реальности, равно как и ее познания, проступает особенно четко. Куда ни глянь, бытие насыщено разумом. Каждая из его сфер, от механической до личностной, подвластна ему, идет ли речь о структуре или качестве, о становлении или оконченном состоянии, – все может быть охвачено разумом. Но ни одна из этих сфер, ни один из их компонентов не растворяется в *ratio*, ибо бытие в любой из своих категорий – от личностной до механической, от целого до частности – содержит в числе прочего и алогичный элемент; притом не только как некий дефект на фоне противоположного элемента, но и как его сущностный противовес⁶. Требуется, следовательно, такое стремление к универсальной рациональности, которое не исключает иррационального, отводя ему в лучшем случае некую сомнительную побочную роль – что вызывает в ответ столь же радикальный иррационализм, признающий лишь интуицию и смену образов и объявляющий *ratio* врагом всего живого, – а заведомо исходит из своей соотнесенности с антиподом.

Такая рациональность неизменно ощущает себя живым контрапунктом благодаря алогичному элементу бытия, который сам по себе доступен только интуиции. Более того, ее просветляющая деятельность успешна именно потому, что она осознает невозможность до конца разгадать все загадки того самого бытия, о котором она печется. Но эта невозможность ей по нраву.

Здесь перед нами предстает, следовательно, такое стремление к рациональному, которое ни в коем случае нельзя считать “рационалистическим”⁷. Это находит свое выражение не в спаде динамики познания или, скажем, в исключении из исследований определенных тем или же их аспектов. Не существует ничего такого, что оставалось бы для этой воли познанию закрытым. Однако акт познания сопровождается живым сознанием присутствия противоположного полюса – алогона – и отведенной ему познавательной

функции. Ведь чистота и действенность трактовки бытия, данной Паскалем, определяется именно тем, что рациональная воля к познанию не чурается на своем пути осознания конкретного никаких тонкостей, а нерасторгимость живого тем не менее заявляет о себе на каждом шагу. Так чистота понятий получает особый резонанс из глубин – так же как, в свою очередь, осознание нерасторгимости бытия и его интуитивное постижение выражаются не в бегстве от *"netteté de vue"* и от логики *"esprit de finesse"*, а именно в том, что они выдерживают натиск логики.

Ссылка на Паскаля не претендовала на серьезный анализ: она должна была всего лишь пояснить, что имеется в виду, и обратить внимание читателя, подчас слишком склонного разъединять мышление и созерцание, понятие и жизнь, ясность и глубину, остроту и творческое начало, на существование такого мышления, которое сродни созерцанию; такой глубины, которая утверждается ясностью; такой плотности конкретного, которая утверждается логическими построениями. Выразим это полемически: существует такой дух, который не только не враждебен жизни, но сам есть жизнь, причем высшего плана; который способен создать такую *"logique de la finesse"*, которая не разрушает хрупкую свободу живого бытия, и такую *"logique du cœur"*, которая не отнимает у сердца – как инструмента понимания человека и сверкающих в нем сокровищ – его тепла.

Таков смысл аналитических рассуждений, содержащихся в этой книге.

При этом я вполне понимаю, насколько проблематична подобная попытка именно по отношению к Достоевскому. Она была бы проблематичной применительно к любому истинному творцу; к этому же – особенно. Ибо наряду с великими литературными произведениями, в которых бытие предстает как открытый взору космос, преобразующий все многообразие в единый порядок, – последней и бесспорнейшей вершиной выступает здесь *"Божественная комедия"* Данте, – существуют и такие, под которыми, кажется, разверзается пропасть творчества, раскрывается само чрево бытия. Некий *"порядок"* присутствует и здесь, но не сконструированный, а повсюду возникающий заново. Ни один персонаж не сводится к однозначной формуле; ни разу не удаётся охватить взором целого. Каждое дей-

ствующее лицо находится в постоянном становлении и изменении – и все же предстает как единое целое. Каждый элемент вырастает из отдельного корня, и тем не менее в нем ощущается присутствие целого. Но если творчество Достоевского таково, то как же проблематична на этом фоне предпринятая здесь попытка его анализа!

К тому же Достоевский занимает особое место среди собственно *"творческих"* писателей. Образы и сюжеты его произведений испытывают не только неотвратимость рока или динамику развития, как, скажем, у Шекспира; в них присутствует еще и нечто иное – *"хаос"*. Но не только как глубь, которая колеблется под любым творчеством, порождая неназываемые образы, как темное чрево, из которого появляются на свет литературные герои, как живая вода бытия, потоки которой струятся под ним повсюду, – не только так. Даже при наличии всего этого художественная структура могла бы достичь полнейшей однозначности. У Достоевского же хаотический элемент прорывается как таковой. Однако это понятие не несет в себе негативной оценки. Оно лишено формалистического пафоса и употребляется в том смысле, в каком и должно употребляться в христианском бытии, где раскрепощена не только *"форма"*, но и ее противоположность – *"противоположность"*, а не противоречие. Тем самым мы решительно отмежевываемся от древнего заблуждения, чреватого для Запада гораздо более роковыми последствиями, чем кажется на первый взгляд: от приравнивания *"формы"* к *"сути"*, *"ценности"*, *"истинности"* со всеми вытекающими отсюда последствиями – каковому приравниванию противостоит другое: *"хаос"*, или, вернее, *"полнота"* (правильнее употребить здесь термин моей теории противоположностей) равнозначна *"антисути"*, *"антиценности"*, *"видимости"*, *"сумеркам"*... Это заблуждение – а оно было не только теоретической ошибкой, но и жизненным решением, позицией, *"политикой"* – имело для Запада далеко идущие последствия; им же были вызваны и противоположные устремления – всевозможные формы иррационализма, романтических поляризаций, подозрительности по отношению к духу. Западное мышление новейшего времени не преуспело в создании требуемых *"полей напряжения"*; оно постоянно шло на уступки то одной, то другой стороне, избегая

таким образом последних проблем, связанных с мышлением и действием. Поэтому не существует пока и Европы в собственном смысле слова, а есть лишь отдельные духовные и социальные сферы, вопреки всем организационным мерам не связанные и враждующие друг с другом.

Вернемся, однако, к Достоевскому. В его произведениях момент полноты бытия – неопределенное, выскальзывающее из-под любой формы, текучее, непредвидимо-внезапное – поднялся до уровня самих персонажей, проник в них, пронизывает их; он – в их чертах и движениях, в их чувствах и мыслях, в их стремлениях и судьбе.

Отсюда и проистекает обескураживающая многозначность этих образов. Не успеешь вообразить, что понял значение какой-то черты характера в общем облике человека или какого-то поступка в контексте его жизни, как видишь, что с тем же успехом их можно трактовать и иначе. Считаешь, что уловил суть образа – но вскоре замечаешь, что он находится в диалектических отношениях с другими персонажами, вследствие чего выполняет

каждый раз новое предназначение; если же пытаешься воспринять сюжет как единое смысловое целое, чтобы вывести из него диалектику этих отношений, то видишь, что он и сам неоднозначен и не поддается четкому определению.

Все это, разумеется, не может не умножать сомнительности предпринятого нами опыта.

Если же я хочу тем не менее оправдать его, то разве что особым намерением, руководившим мною в продолжении всего анализа: цель его состояла для меня не в филологически-гуманитарной трактовке взглядов Достоевского, а во встрече с ним, в диалоге о разных аспектах человеческого бытия – *salva reverentia*, в том смысле, в каком диалог как раз и служит одной формой духовной жизни в целом.

Рассказать, что выступает на первый план при такой встрече, в диалоге о том, что касается нас всех, – иными словами, внести свой вклад в создание Европы, человеческой и духовной, а тем самым и в познание человеческого духа и сердца – такова цель этой книги.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Фердыщенко – один из образов прихлебателей, созданных Достоевским.

2 Здесь может, очевидно, проявиться значение идеи Платона, да и не только ее.

3 Полярность их умонастроений уже приводила к столкновениям, – точнее, вызывала агрессивные действия Гаврилы по отношению к Мышкину.

4 Однако он знает, что видит вещи в более правильном свете и что людям надлежало бы следовать за ним. Он признает это, отвечая на прямой вопрос генеральши.

5 Мне говорили, что эта “невозможность” характерна лишь для духовной жизни Запада, но никак не Востока. Я не могу судить об этом, а должен придерживаться исключительно того, что могу видеть.

6 В этой связи я позволю себе напомнить о своих “Опытах философии живого и конкретного” опубликованных в 1925 году под названием “Противоположность” (“Der Gegensatz”). Несмотря на все – недостатки – как в целом, так и частностях – основная мысль этой работы кажется мне верной и поныне. В числе прочего там говорится о понятии алогичного элемента в бытии, об обоснованности серьезной трактовки интуиции как одной из форм познания и о ее соотношении с логическим познанием.

7 С учетом известных предпосылок сюда можно отнести средневековое мировоззрение.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ В № 74–75

стр. 6, 2-я колонка, строка 15-я снизу, напечатано:
стр. 7, 1-я колонка, строка 16-я снизу, напечатано:
стр. 13, 1-я колонка, строка 29-я снизу, напечатано:
стр. 19, 2-я колонка, строка 2-я снизу, напечатано:
стр. 13, 1-я колонка, строка 29-я снизу, напечатано:
стр. 57, 2-я колонка, строки 4–5-я снизу, напечатано:

сударства
“Белый
20 тысяч
Вавилонский
во время
Тшщдфы

читать: сударства“
читать: “Лебединый
читать: 2 тысячи
читать: Авиньонский
читать: после
читать: Nicolas

Неужели прав Константин Леонтьев, который пришел к страшной мысли: "Предназначение России окончить историю, погубив человечество"?

Уважаемые читатели!

Мы, сотрудники Московской независимой общественной библиотеки, вновь встречаемся с вами на страницах "Листка-комментария" группы "Обратная связь", так как продолжаем выполнять свои обязательства по распространению очередного номера журнала "Голос зарубежья" с условием сопровождения каждого его экземпляра нашими комментариями.

Начнем свои заметки с рассмотрения статьи Д.Штурман "Живая власть". Вызывает возражение то обстоятельство, что автор сводит к ненавистной ей безответственной "черни" и "образованщину", и интеллигенцию, и "просвещенные, высоко-духовные слои интеллигенции", обвиняя их скопом в том, что они не принимают "живую власть" в исполнении Б.Ельцина. Нам видится, что госпожа Штурман неясно представляет себе, что стоит за термином "интеллигенция". Она апеллирует в своей критике интеллигенции к сентенциям поэта Пушкина, которого заподозрить в интеллигентности никак нельзя. Он не может быть назван интеллигентом ни на основании дедуктивной логики (мы согласны с автором, что интеллигенции в его времена еще не было), ни на основании индуктивной логики, ибо он и думал, и жил как эстет, не задумываясь даже о гражданских правах, хотя бы о свободе своих крепостных. Мы считаем, что нельзя приравнивать термин "интеллигент" к термину "интеллектуал", как это легко делает Дора Штурман. Кроме того, когда она разочаровывается в правозащитных действиях интеллигента, она, пытаясь его дискредитировать, торопится поставить ему в вину одновременно и грех бывших коммунистических иллюзий, и нынешний "грех" либерализма. Мы считаем необходимым показать качественное различие указанных типов людей. Они различаются по своему объективному и субъективному отношению к информации. Этот ряд таков: безграмотный, грамотный, начитанный, культурно-образованный (формы и градации), профессионально образованный (формы и градации), интеллектуал (эстет), интеллигент. "Интеллигентность" здесь - это высшая степень отношения человека к информации. Это - отношение к ней как к средству связывать в своем нравственном сознании свое имманентное стремление к благополучию и свободной реализации своих социальных и творческих сил только с освобождением общества в экономическом, культурном и политическом смысле.

"Интеллигентность" - это не обязательный атрибут людей науки, искусства или культуры, а характеристика личности демократически мыслящего цивилизованного коллективиста-интеллектуала. "Личности" - значит индивида осознавшего смысл своей жизни. "Демократически мыслящего" - значит такого человека, который признает права любого меньшинства в социуме, не противоречащие правам, которыми обладают все.

"Коллективиста" - значит человека, установочно желающего решать свои проблемы путем продуктивного справедливого взаимодействия с другими людьми, обществом. "Цивилизованного" - значит достигшего понимания и уважения другого лица как собственника своей жизни, свободы, своего имущества и результатов своего труда. "Интеллектуала" - значит такого человека, который НЕ МОЖЕТ не размышлять, не создавать свои понятийные миры, в частности, своего собственного и общественного существования.

И вот с этих позиций интеллигенты и пытаются рассматривать каждое событие в обществе и действовать в соответствии с полученными ими результатами мысли и совести. Д.Штурман пишет о нынешней "живой власти" под руководством Б.Ельцина: "Есть у России в запасе лучше власть?", и далее - "есть ли власть более удачливая, прозорливая, последовательная?". Уважаемая госпожа Штурман по старой памяти полагает, что в сложившейся ситуации Б.Ельцин остается на высоте положения. Однако, если взглянуть в недавнюю историю, мы можем отметить, что Б.Ельцин многое не делал так, как об этом говорил, а многое и просто никогда не говорил из того, что должен был бы говорить и делать цивилизованный лидер государства. Именно поэтому у нас до сих пор не защищено отдельный человек как собственник: налицо небывалый расцвет уголовщины и произвола силовых и других чиновничьих структур, не запрещены до сих пор, как это было сделано в Чехии, коммунистические и другие антиконституционные, антиобщественные организации. Именно поэтому от нас бегут капиталы, а не возвращаются со всего мира, как это происходит в странах жестко следующих курсу создания гражданского общества. Нынешняя власть в прямом смысле обманула ожидания населения на благотворное действие рыночных реформ. Попустительство властей сделало человека беззащитным. Страшно затевать какое либо долговременное дело: того гляди нарвешься на бандита или на корыстного или прокоммунистического чиновника (не был принят закон о люстрации). Ни у кого нет доверия к государству при нынешних правителях: люди боятся обращаться в милицию, сдавать деньги в государственные банки, боятся попасть в руки государственным эскулапам: покалечат, а то и убьют своим равнодушием или неумением. Мы долго ждали каких-либо конструктивных действий от правительства, с надеждой воспринимали любой его вздох: "Жива еще власть", - думали мы. Война в Чечне развеяла наши иллюзии. Мы живем еще в тоталитарном государстве, где укоренился либеральный национал-патриотизм, заигрывающий с деспотическими (фашисты) и даже тираническими (нацисты и черносотенцы) националистами. Время показывает, как либерал-демократ Б.Федоров пошел на выучку к "истинному" либерал-демократу, а по-существу-фашисту Жириновскому, как под заклинания Ельцина о борьбе с фашизмом и экстремизмом продается антисемитская и другая "зоологическая" пачкотня, устанавливаются фашистские пикеты, разжигающие национализм и пропагандирующие войну в четырехэтажных метрах от стен Кремля. В Москве во главе службы гос.безопасности поставлен человек, который вел дела крупных диссидентов в бывшем Советском Союзе. Известны уже его новые "подвиги": сфабриковано обвинение на другого бывшего сотрудника КГБ Орехова, который, осознав преступность организации, членом которой являлся, помогал правозащитникам в годы брежневского коммунисти-

ческого деспотизма. Все, что происходит в России с попустительством исполнительной власти, ведет к приближению гражданской и международной войне, к развалу России в самых варварских формах, к фашизации и нацизации всех народов, ее населяющих, - и в итоге - к бесконтрольному нарастанию опасности той самой ядерной катастрофы, от которой может погибнуть все человечество. Россия с нынешними рулевыми остается мировой державой - мощным вооруженным монстром с неадекватными, подобно современному сербскому правительству, амбициями.

Д. Штурман противоречит сама себе, когда - с одной стороны - утверждает, что распад СССР был предreshен по причине исчерпания запаса насилия и лжи, но не видит, что и Чечня отпала от России по той же причине.

Противоречиями, на наш взгляд, полны и рассуждения Веры Александровны Пирожковой, редактора журнала и автора статьи "Демократия и государство".

Так, признавая референдум по вопросу об отделении национальных территорий как проявление демократии (с.10), она при этом поддерживает администрацию Ельцина, которая уже более полугода ведет полномасштабные военные действия с чеченским народом, пожелавшим отделиться от России, даже не ставя вопроса о возможности процедуры референдума. Уже такие ястребы как Черномырды или Говорухин признали абсурдность войны в Чечне. Напротив, Вера Александровна Пирожкова обвинила тех, кто пытается остановить бойню, ни много ни мало, в "гос.измене" (с.13). Она, по-видимому не замечает, что президент уже давно не является гарантом конституции, основой которой является не защита территории, а защита общества и гражданских прав всего населения страны. Особое место в наших разногласиях с Верой Александровной Пирожковой занимает представление о взаимоотношениях общества и государства. Гайдар утверждает, что государство есть один из возможных элементов общества. Он прав, ибо общество может существовать и без государства, о чем свидетельствуют периоды дикости и раннего варварства в истории человечества и соответствующие ныне типы обществ. Однако Пирожкова считает, что сказанное Гайдари не достойно государственного деятеля, и выдвигает свое суждение на этот счет: "Государство это форма существования общества, тот необходимый (курсив В.П.) корсет... и т.д.". Что мы обнаруживаем? Гайдар полагает, что государство есть производное от деятельности общества. Это не исключает ситуации, когда дитя может поглотить своего родителя. Тогда, кстати, возникают тоталитарные государства. Но интересы общества выше интересов государства. Государство создается как институт, защищающий интересы общества. Другое дело, что государство часто подменяет отведенную ему роль слуги, и роль господина.

Вера Александровна же, к сожалению, поддерживает противоречивое, тоталитарное по своей сути, определение государства, данное Ельциным, согласно которому, "... государство является прежде всего политической организацией всех граждан страны, их совместным достоянием и общим делом" (с.13). По этому определению подходит и гитлеровская Германия, и сталинская Россия. Секрет в том, что цивилизованное, и тем более, демократическое государство это организация не "политическая", а гражданская, в которой равны все политические организации, признающие Конституцию, как единый для всех закон защищающий их гражданские права. То, чему учит нас Вера Александровна, ничем не отличается от того, что мы имели при коммунистах, если добавить правду, РАЗРЕШЕНИЕ населению заниматься предпринимательством и замену декларации о защите интересов пролетариата другой декларацией - защиты "Державы". Как будто держава - это не люди, ее населяющие в их многообразии: самоценности, а какая-то ностальгическая абстракция, не деревья, а лес, картонная игра с оловянными солдатиками вместо живых сыновей чьих-то матерей. Мы считаем, что не Гайдари нужно отказать называться государственным человеком, а господину Ельцину и ему подобным "державникам", которые продолжают, как в детстве, играть в игры, где нет места интересам и правам людей, а есть лишь "территории", "ресурсы", "геополитические интересы" и прочие атрибуты нерелефлексивного сознания. ПОДРОСТКОВОЕ сознание так устроено, что оно не отделяет себя как субъекта от объекта привязанности "Наша Родина", "Наша Россия" - к сожалению, эти слова для варвара с коллективистской романтической установкой на практике означают претензии на тоталитарную собственность в отношении страны, в которой он родился и вырос. Отсюда рождается "державность". Люди с более развитым самосознанием отделяют свои чувства, свои симпатии от желания обладать предметом этих симпатий. Неужели господин Гайдар не хотел, чтобы Чечня была в составе любимой России? Но он, как взрослый, - и поэтом, - ответственный за свои поступки, человек понимает, что погоня за удовлетворением своих желаний может дорого стоить сотням тысяч и миллионам сограждан. И он готов вести любые переговоры, осуществлять любые административные и пр. мероприятия, только бы не встать на дорогу войны. Он понимает, насколько опасно государство, которое обрекает своих граждан на ничем не оправданный риск бездарной гибели. Если народ (как ребенок в семье) дозрел до стремления отделиться от семьи народов (России), то нужно помочь ему осуществить это как можно с меньшими для себя и окружающих потерями, а не уподобиться крестному отцу сицилийской мафии или гоголевскому разбойнику Тарасу Бульбе. И тогда Россия скорее сложится с таким народом - "отпрыском" крепкие связи - вплоть до пробуждения его стремления вернуться в ее состав, но уже в качестве юридически свободного субъекта, нежели, если она будет бить и истязать свое дитя, пока оно не плюнет ей в лицо кровью.

Дмитрий Бродский, Лена Батенкова

Главный редактор: д-р В. ПИРОЖКОВА

Verantwortlich für den Inhalt: D-r V. Piroschkow

Адрес редакции:

D-r V. Piroschkow, Einsteinstr. 104/III, D — 8000 München 80, Deutschland

Банковский счет: Hypotheken- und Wechselbank, 8 München, Konto Nr. 2760094318

**За статьи и письма, подписанные фамилией
или псевдонимом автора, редакция не отвечает
Перепечатка разрешается, но с указанием источника**

Druck: "Express", Jerusalem

